

**Алишер
ТАКСАНОВ**

**Похищение
мумии**



Алишер Таксанов

Похищение мумии

«Автор»

2026

Таксанов А. А.

Похищение мумии / А. А. Таксанов — «Автор», 2026

Лето 1991 года. СССР на пороге развала. В Ташкентском морге работает паталогоанатом Вячеслав Мурзилкин, который намерен оживить Владимира Ленина. Бандиты из солнцевской ОПГ привозят ему мумию, что похитили из Мавзолея. Мурзилкину и его ассистенту удастся дать жизнь вождю мирового пролетариата, который намерен возглавить ГКЧП. Но пока всё происходит в столице Узбекистана: создание Социалистической партии плова, противостояние с президентом Исламом Каримовым, женитьба на продавщице рейтузов, прием ходоков из кишлаков, посещение собственного музея и просмотр фильмов о себе.

© Таксанов А. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Патологоанатом Вячеслав Мурзилкин и его ученик	9
Глава вторая. Московские тревожные будни	14
Глава третья. Планы хозяина морга	18
Глава четвёртая. Похищение мумии	22
Глава пятая. Переполох в Кремле	27
Глава шестая. Купля-продажа	33
Глава седьмая. Коррупционер в халате	39
Глава восьмая. Бомба в дипломате	45
Глава девятая. Реанимация мумии	53
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Алишер Таксанов

Похищение мумии

Пролог

Москва летом 1991 года бурлила своей драматической и противоречивой жизнью, что казалось вот-вот что-то должно произойти. Воздух дрожал от жары и нервного напряжения. Вечерами над городом стоял запах бензина, липы и надежды – странный коктейль уходящей, застывшей в прошлой парадигме, эпохи. На улицах, в троллейбусах и очередях у магазинов люди спорили о политике, о будущем, о «новом времени», которое, как казалось, уже начиналось. В глазах одних горел азарт перемен, в глазах других – усталость от вечных обещаний.

Люди, утратившие доверие к прежней коммунистической системе, жили между прошлым и будущим, как пассажиры поезда, застрявшего на перегоне. Газеты писали о демократии, митингах и приватизации, телевидение спорило само с собой, а из каждого окна доносился гул магнитофонов – «ДДТ», «Кино», Тальков и редкие записи зарубежных групп, добытые на Горбушке.

Кризис поджимал всех: инженеры торговали на рынке колготками, профессора искали подработку, пенсионеры собирали пустые бутылки, чтобы купить хлеб. Магазины стояли полупустые, полки с гордостью демонстрировали изобилие уксуса и томатной пасты. Иногда «выбрасывали» масло или колбасу – и тогда очередь выстраивалась мгновенно, будто выросла из асфальта.

Но город всё же жил. Метро, хоть и с гулом, но исправно возило миллионы москвичей, эскалаторы скрипели, как старые органы, а на станциях пахло железом и терпением. Автобусы и троллейбусы, обшарпанные, но упрямые, ползли по Тверской и Ленинскому проспекту, обгоняя редкие иномарки. Водители, ругаясь и потея, пытались справиться с капризными «ЛиАЗами», а кондукторы пересчитывали медяки, гремя сумками, словно кассиры судьбы.

ЖЭКи всё так же латали трубы, ругались с жильцами и писали объявления на выцветших ватманах: «Воды не будет с 9 до 18 часов». Дворники, будто не замечая исторических бурь, подметали улицы с философским равнодушием – их профессия была важна при любой власти.

Итак, Москва стояла на пороге перемен – усталая, нервная, но по-своему красивая. Город, как старый гигант, чувствовал: скоро грянет что-то великое, и ни жара, ни пустые полки не смогут остановить этот надвигающийся шторм.

При этом Кремль оставался символом власти и монолита – краснокирпичной твердыней, возвышавшейся над рекой и временем. Но внимательный глаз мог заметить: в его непоколебимом облике будто проступали невидимые трещины. Не в стенах и башнях – в смысле, в духе. За крепкими стенами уже гудела растерянность, как в старом трансформаторе, и в мраморных коридорах, где еще недавно шагали уверенные партийные вожди, теперь стояли растерянные люди, боявшиеся взглянуть в завтрашний день. Власть и события ускользали через их пальцы как песок.

Красная звезда на Спасской башне сияла по-прежнему ярко, но её холодный свет казался каким-то уставшим, словно она горела не верой, а по инерции. А над Кремлем по-прежнему трепетал алый флаг СССР – гордый, выцветший от десятилетий ветров и обещаний. В его шелесте слышалось не столько торжество, сколько прощание: сама ткань, казалось, понимала, что её время подходит к концу. Ветер, играя с флагом, словно пробовал – выдержит ли он ещё один шторм истории.

Президент большой, уже трещавшей по швам страны, Михаил Сергеевич Горбачёв, проводил бесконечные часы у телефона. Его голос, усталый, но ещё пытавшийся звучать уверенно, звенел в трубках союзных республик. Он уговаривал, убеждал, просил «подумать о будущем страны», «о народе», «о стабильности». Но в ответ чаще слышал осторожное молчание или холодное, вежливое «мы подумаем», «не всё так просто», «не станем торопить события». Одним звонил с раздражением – бывшим партийным соратникам, теперь строившим карьеру на руинах прежней системы; другим – с отчаянием, пытаясь удержать хоть какую-то нить союзного единства.

Телефонные переговоры напоминали игру в домино, где каждая кость вот-вот могла опрокинуть всю конструкцию. Но большинству было очевидно – Союз на пути к распаду, и это уже не остановить. А где-то в глубине души Горбачёв уже знал: история не слушает уговоров. Конец был не просто близок – он был уже внутри, как червь в спелом яблоке.

Но кроме Кремля существовал ещё один символ прежней эпохи – Мавзолей. Он стоял у подножия Красной площади, строгий и безмолвный, словно гранитный сфинкс, хранящий тайну советского века. Построенный в 1930 году по проекту архитектора Алексея Щусева, Мавзолей стал храмом новой религии – религии материализма и веры в неизбежность коммунизма. Щусев вдохновлялся египетскими пирамидами и зиккуратами древнего Востока, создавая сооружение, где каждая грань несла символику вечности и непоколебимости власти.

Внутри, под мягким электрическим светом, покоилось забальзамированное тело Владимира Ильича Ленина – не просто человека, а идола, в которого верили миллионы. Для одних он был святым революции, для других – напоминанием о страшной цене, заплаченной за утопию. И всё же его мумия продолжала нести идеологическую службу: как будто сам Ленин своим мёртвым взглядом говорил – «путь верен, просто вы свернули не туда».

Толпы по-прежнему шли к Мавзолею – кто из уважения, кто из привычки, кто просто ради любопытства. Люди стояли в очередях, молчали, глядя на неподвижное лицо вождя, и каждый видел в нём что-то своё: кто-то – потерянную веру, кто-то – стылую насмешку над надеждой. А кто-то тихо и незаметно сплёвывал на пол.

И всё же, несмотря на внешнюю неподвижность, Мавзолей уже начинал терять своё сакральное значение. Его гранитные плиты, казалось, впитывали в себя тревогу времени. А мумия, некогда воплощавшая идею вечного будущего, теперь выглядела символом того, что вечного не бывает.

Несмотря на экономический и политический кризис, Мавзолей продолжал охраняться с той же ритуальной педантичностью, что и раньше – как будто сам режим пытался залатать трещины артефактом вечности. У входа стоял прочетный караул: солдаты в почетной форме с блестящими ремнями, белыми перчатками и кирзовыми сапогами, лица их были каменные, движения отточенные. На рассвете и в сумерках они целно меняли посты, шаг их гулко отбивал такт в сердце площади; публика лепилась вокруг – туристы, старики, любопытные – и тихо разглядывала церемонию.

Внутри здание хранило холодный порядок – полированные плиты, приглушённый свет ламп, запах формалина и полироли. Саркофаг Ленина стоял под стеклом, вокруг него – аккуратность и стерильность музейного порядка: пыль выметена, подносы протерты, микрофоны выключены. Тело – забальзамированное лицо, закрытое очертание рук – выглядело почти иллюзорно девственным, словно идея, которую оно представляло, до сих пор держалась в запотевшем стекле. Идея эта – революция и вера в светлое, индустриальное завтра – ощущалась как древняя витрина с артефактом: тронув её, можно было бы обнаружить, что внутри – всего-навсего музейная экспозиция, но толпа по-прежнему склонялась.

История мавзолея была проста и театральна: первичный деревянный курган смерти возник в 1924 году по инициативе партийного руководства; затем, в 1930-е было возведено каменное, монументальное строение, в котором соединились солидность классицизма и навешанные

древними мавзолеями формы. Проект рождался из потребности сакрализировать образ вождя – превратить тело в символ, а символ – в инструмент политической легитимации. Мавзолей служил не только местом поклонения: он стал кинематографическим кадром советской власти, её обещаний, её ритуалов. И даже когда идеология трещала, сама фигура Ленина внутри продолжала функционировать как концентратор смыслов: память о Октябрьской революции, о победе в Гражданской войне, о НЭПе и великой стройке ГОЭЛРО – всей той пафосной панораме, что когда-то была программой страны.

ГОЭЛРО, кстати, был одним из символов тех амбиций – план электрификации, обещавший озарить заводами и линиями всю страну; НЭП – временная оттепель, когда торговля и мелкое предпринимательство получили передышку; а Гражданская война – кровавая коллизия, которая делала миф о «победе пролетариата» пост-историческим оправданием. В Мавзолее это всё сжималось в спокойное лицо под стеклом: идея вечного прогресса, упакованная в музейный экспонат. Но, как оказалось, и труп может начать новую жизнь, если сложатся все необходимые обстоятельства. И они сложились.

...И в один из душных летних вечеров, когда тени домов ложились длинными штрихами по брусчатке Красной площади, у ступеней Мавзолея стояли двое. Первый – грузин. Мрачный, носатый, с тяжёлым взглядом, он был одет проще простого: джинсы, потрёпанные кеды и спортивная куртка «Адидас», чуть заметно облезшая на рукавах. Лёгкая щетина на подбородке, пальцы с рубцами – человек, привыкший к быстрым решениям. Золотой перстень особо выделялся, словно был чужим на нелепом фоне. Его походка – уверенная, будто каждое движение заранее просчитано. Взгляд – холодный и осторожный, но с оттенком самоуверенности, которую даёт умение договариваться.

Второй – быковатый, плотный; шея короткая, как у бойца, плечи широкие. На руках и шее – тюремные наколки: звёзды, волчьи пасти, крошечные символы, которые читаются как биография. Лицо простое, с рублеными чертами; смех его похож на удар по столу. В нём было что-то одинаково опасное и комичное, как у человека, который привык, что любые вопросы решаются кулаком или словом.

Они курили «Мальборо», вдыхая тяжёлый вечерний воздух, и смотрели, как часовые сменяли пост у мавзолея – поворот головы, выдох, шаг влево, шаг вправо. Разговор их шел на криминальном языке – коротко, по делу, без красивых слов.

– Товар заказан, – сказал грузин ровным, спокойным голосом. – Платят валютой. Не мелочками, – он покрутил сигарету между пальцев, как счёт денег в уме. – Нужна гарантия, и – главное – скорость. Ты понимаешь, Мускул?

– Базара нет, – ответил быковатый, выпуская облако дыма. Мускул – это было его погоныю. Настоящее имя – Сергей. Фамилию свою он постарался забыть. – Но риски большие. Менты могут наступить, могут «помешать» – с этим надо считаться. Склад у нас, но не святой: народ суетливый, глаза лишние появляются.

Грузин плевал на асфальт, равнодушно, и шаркнул ногой.

– Да ну их, – сказал он. – Время сейчас наше: бартер с кем надо, «менты» – наши люди, если что. Заберём товар – и через двое суток клиент получит. Деньги – в валюте, на счёт, наличкой. Ты понимаешь, о чём я?

– Понимаю, Гиви, – буркнул Мускул. – Но «наши люди» – это не шутки. Кто скажет, что это не провокация? Кто будет отвечать, если облют? Братва не поймет, если что. Это политика – не наша сфера.

– Мы отвечаем, – коротко сказал Гиви. – У нас связи, и у нас – кэш. Ты делаешь своё – я своё. Никто не лезет. Никто не спрашивает. Без лишних движений. А полититкой пусть занимаются в Кремле.

– Хорошо, – согласился быковатый. – Только чётко: расписать время, место – но без писем, без свидетелей. И голову не терять.

– Базара нет, – повторил грузин и поджал губы. – Берём, грузим, едем. Деньги получаем – делим. Всё просто.

Они помолчали, глоток дыма, скрип сапога часового – как метроном, который мерит шаг истории. Вокруг Мавзолея шагали туристы и пенсионеры, но для этих двоих Красная площадь была скорее деловой площадью, чем святыней: место, где старые ритуалы и новые схемы пересекались и менялись местами.

Гиви был напряжен: в его голове зрел план.

Глава первая. Патологоанатом Вячеслав Мурзилкин и его ученик

Ташкент летом 1991 года жил под палящим солнцем и под таким же горячим, тревожным дыханием перемен. Всё, что происходило в Москве, Ленинграде или Новосибирске, здесь ощущалось с восточным колоритом – медленно, но неотвратимо. На базарах стоял гул: торгаши кричали, спорили, взвешивали, пересчитывали купюры, словно отбивая новый ритм жизни.

Дефицит стал привычным фоном, как жара или пыль. Инфляция срезала не только накопления, но и надежды. Люди часами стояли в очередях за сахаром, мылом, бензином, тканью, а по вечерам пересчитывали талоны и жаловались на судьбу. Цены росли быстрее, чем бакинская нефть, зарплаты опаздывали, пенсии и пособия таяли, как мороженое на солнце. Милиция всё чаще напоминала банду в форме: одна половина брала «на лапу», другая – крышевала тех, кто платил больше. Закон и понятия сливались в одну мутную жидкость, где трудно было различить – кто охотник, а кто добыча. Блатная речь стала повсеместной и, как ни странно, понятной для большинства населения.

Торговая мафия правила рынками и магазинами. Бывшие партийные функционеры, мгновенно переориентировавшись, переквалифицировались в коммерсантов: кто-то продавал лицензии, кто-то – квоты, кто-то – просто подписи. Народ же, уставший от красных лозунгов, давно перестал читать Карла Маркса и «Краткий курс истории ВКП(б)». Зато с азартом смотрел видеокассеты с «Крестным отцом», «Бригадой убийц» и «Местом встречи изменить нельзя», «Человек со шрамом» – истории о благородных бандитах и продажных чиновниках теперь казались не пропагандой, а документалистикой.

Начинались лихие девяностые – эпоха, которая потом обрастёт легендами. В ней будут искать героину, романтику, философию. Напишут книги о «честных ворах», снимут фильмы о «понятиях чести», а зрители будут ностальгически вздыхать, забывая, что за всеми теми «понятиями» прятались кровь, страх и голод. Но тогда, в жарком Ташкенте 1991-го, никто ещё не знал, что живёт внутри будущего мифа.

И вот в это время, когда страна постепенно расползалась по швам, в одной из городских больниц, в полутёмном подвале с запахом формалина и резины, работал патологоанатом Вячеслав Муркелович Мурзилкин, кандидат медицинских наук, автор множества изобретений в сфере фармакологии и биотехники.

Мурзилкин был человеком незаметным – тем, мимо кого люди обычно проходят, не глядя, и всё же после разговора с ним остаётся странное ощущение, будто он знает о тебе больше, чем ты сам. Невысокого роста, с лёгким брюшком, который мягко выпирал из-под белого халата, с пухлыми, но ловкими пальцами, он производил впечатление добродушного дядюшки. Плешивый, с жидкими седыми волосами по бокам головы, с очками в тонкой проволочной оправе, он вечно выглядел немного усталым и немного ироничным.

На его волосатой груди всегда торчал медальон – старенький знак выпускника медицинского института в Самаре. Под халатом пряталась потертая рубашка, на которой давно уже не держались пуговицы, и неизменные шлёпанцы, скрипевшие по кафелю. Говорил он медленно, с южнорусским выговором, но мысли его всегда были острыми и точными, как скальпель. В морге Мурзилкин чувствовал себя спокойнее, чем среди живых: «Мои пациенты не жалуются, не хамят и не требуют справок», – любил он шутить. Иногда даже казалось, что покойники слушают его внимательнее, чем начальство.

Коллеги уважали Мурзилкина – кто за знание анатомии, кто за умение налить сто грамм, не моргнув глазом, кто-то за подпись, не спрашивая зачем. В больнице ходили слухи, что он

может определить причину смерти не хуже судебно-медицинской экспертизы, а иногда и с мистической точностью. Сам Мурзилкин смеялся: «Опыт, сын ошибок трудных, и немного алкоголя – вот и вся методика».

Он был человеком, у которого жизнь шла между холодом морга и жарой южного города. Мир наверху бурлил, рушился, менялся, а внизу, среди кафеля, металлических столов и тел под простынями, всё оставалось прежним. Время имело здесь статус вечности.

И, пожалуй, именно здесь, среди формалина и мертвенной тишины, и начнётся история, которая перевернёт не только жизнь Вячеслава Мурзилкина, но и весь Ташкент – а возможно, и кое-что большее.

Дело в том, что Вячеслав Муркелович был человеком не только наблюдательным, но и пытливым. Настоящим новатором. В медицине, где большинство коллег давно превратились в бюрократов с дипломами, он умел видеть возможности даже там, где остальные видели только холод и смерть. Даже морг становился лабораторией, испытательным полигоном, если правильно подойти к теме и рассчитать все факторы.

Казалось бы – что нового можно придумать в патологоанатомии? Всё ведь ясно и отработано десятилетиями: поступает тело – регистрируешь, осматриваешь, вскрываешь. Скальпель, разрез от грудины до лобка, отслаивание кожи, извлечение органов. Сердце, лёгкие, печень, почки, желудок – всё укладывается в металлические лотки, взвешивается, разрезается, описывается. Иногда – череп, где пила визжит, словно жалуется на судьбу, а под крышкой – мозг, серый и безмолвный. После осмотра – формалин, заключение, подпись. Всё строго, всё по протоколу.

Инструменты у патологоанатома простые, но суровые: скальпель, пила, ножницы, пинцет, зажимы, молоточек, пила Джигли для черепа, металлический крючок для языка. И ещё – неизменный эмалированный таз, куда стекает всё то, что живым людям лучше не видеть.

Но Мурзилкин не был обычным врачом. Он был одержим идеей – не просто понять, как человек умирает, а узнать, можно ли смерть обратить вспять. Он верил, что жизнь – это всего лишь сложный химико-электрический процесс, и если сумеешь запустить его заново, то можно воскресить тело. Ведь воскресился когда-то Иисус из Назарета, и, может, это не миф, не страница в Библии...

А тут случилась настоящая сенсация на советском телевидении. В декабре 1990 года человек, называвший себя белым магом, Юрий Лонго, заявил, что сумел оживить покойника в морге Института скорой помощи имени Склифосовского. Телезрителям показали странные кадры: на столе лежал накрытый простыней труп, вокруг ходил высокий человек в чёрной одежде с длинными волосами и загадочным взглядом. Он делал пассы руками, что-то бормотал, поднимал ладони над телом. И вдруг – под камеру – тело под простыней слегка зашевелилось.

Для миллионов людей это выглядело как чудо. Нужно помнить, что происходило тогда в стране. Советский Союз по инерции летел к распаду. Экономика рушилась, полки магазинов пустели, политическая система трещала по швам. Газеты писали о скандалах, разоблачениях, коррупции и национальных конфликтах. Люди чувствовали, что привычный мир разваливается, а нового ещё не появилось.

В такой атмосфере население было готово поверить во что угодно. Даже министр обороны СССР Дмитрий Язов поверил и требовал возродить погибших солдат.

Это было время настоящего расцвета всевозможных чудотворцев. По телевизору выступали «заряжатели воды», обещавшие исцеление от всех болезней. Массовые гипнотизёры собирали стадионы и вводили зрителей в транс. Шарлатаны-ясновидцы предсказывали судьбу, карточные гадалышки открывали салоны, астрологи печатали гороскопы в газетах, нумерологи искали тайные числа судьбы. Появлялись общества мистиков, любителей пентаграмм, даже группы сатанистов.

Страна, переживавшая кризис идеологии, словно отказывалась от науки и рациональности, скатываясь в странное состояние коллективного психоза. Люди, которые ещё вчера изучали «научный коммунизм», сегодня слушали колдунов и экстрасенсов. Имена Аллана Чумака и Анатолия Кашпиrowsкого знали буквально все, и они ближе, чем имена Горбачев, Рейган, Маргарет Тетчер.

Один молча сидел перед камерой и «заряжал» воду и кремы через телевизор, а другой проводил сеансы массового гипноза, во время которых люди в зале плакали, смеялись и падали в обморок. И, что самое удивительное, доверия к ним было зачастую больше, чем ко всему Политбюро ЦК КПСС.

На этом фоне заявление Юрия Лонго прозвучало как нечто вполне возможное. В интервью он сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом.

– Следующий шаг, – загадочно улыбаясь, говорил он, – это воскрешение Владимира Ильича Ленина в Мавзолее.

Газеты подхватили эту тему. Одни писали о сенсации, другие возмущались, третьи требовали расследования. Страна обсуждала, возможно ли такое вообще. После цены на колбасу советских граждан интересовало именно это.

Правда вскоре выяснилась. Через несколько месяцев в прессе появилось разоблачение: «оживление покойника» в морге оказалось обычной постановкой. Человек под простыней был живым актёром, а вся сцена – заранее подготовленным трюком, разыгранным Лонго и его ассистентами.

Но, как часто бывает в таких случаях, разоблачение мало кого убедило. Люди, поверившие в чудо, отказывались признавать, что его не было. Они говорили, что власти просто испугались, что настоящие маги раскрыли свои возможности. Кто-то утверждал, что актёра подменили, кто-то – что журналисты солгали.

Чудо продолжало жить в слухах. Однако именно эта история неожиданно подействовала на одного человека. Вячеслав Мурзилкин, работавший тогда главным в морге, внимательно следил за всей этой шумихой. Он читал статьи, смотрел телевизионные передачи и постепенно приходил к странной мысли.

Если шарлатан может так убедительно инсценировать воскрешение, значит люди готовы поверить в саму возможность оживления. А значит – это можно сделать по-настоящему. В голове патологоанатома родилась идея: нужно реально оживить Ленина. Вернуть вождя революции к жизни, чтобы спасти страну от распада и вернуть её в русло социализма. Иначе, как он думал, в Москве окончательно утвердятся шарлатаны и ревизионисты, которые окончательно похоронят революционное дело.

С этого момента Мурзилкин начал работать над своим проектом с почти фанатичной настойчивостью. Он проводил эксперименты, записывал формулы, искал способы запустить мёртвую ткань.

Сначала он экспериментировал на органах. Сохранял сердца, почки, желудки, извлечённые у умерших. Вводил им собственный препарат – загадочную смесь, которую он назвал «Революция». Название родилось не случайно: Мурзилкин считал, что его открытие станет новой Октябрьской революцией – только теперь не в обществе, а в биологии.

Только первые опыты были катастрофическими. Едва в сосуд попадал препарат, как начинались чудеса кошмарного толка. Сердце вспухало, краснело и взрывалось, разбрызгивая горячие брызги по халату и стенам. Почки шипели, словно кипятилок в чайнике, желудок надувался и трещал. Селезёнка брызгала странной синей жидкостью – словно чернила, а кишечник извивался, как клубок змей, шипел и пытался выскользнуть с подноса. Запах стоял – смесь формалина и ада.

Но со временем, после сотен проб и ошибок, что-то начало получаться. Органы перестали взрываться. Напротив – ткани начинали регенерировать. В под микроскопом клетки медленно

оживали, начинали делиться, словно вспоминая, что они когда-то были живыми. Щитовидная железа вновь вырабатывала гормоны, глазные яблоки возвращали блеск, мышцы сокращались при прикосновении электрода.

Тогда Вячеслав Муркелович пошёл дальше. Он начал разрабатывать оборудование для стимуляции всего организма. Самым его гордым изобретением стал гига-дефибриллятор «Большевик» – громоздкий аппарат на колёсах, с медными катушками и трансформатором, который гудел, как старый трамвай. Мурзилкин шутил:

– Если Ленин лежит, значит, просто ток подали не туда.

«Большевик» мог выдавать чудовищное напряжение, и когда Мурзилкин прикладывал электроды к телу, от удара труп подсакивал на столе, будто возвращаясь из глубин небытия. Иногда глаза мертвеца приоткрывались, пальцы дрожали, губы судорожно дёргались – как будто тело пыталось что-то сказать.

И только патологоанатом видел, как двигались их конечности. Как старик с простреленной грудью поднимал руку, как женщина, умершая от передозировки, пыталась сесть, а бездомный с ожогами на лице делал неловкий шаг, прежде чем снова рухнуть на кафедру.

Они оживали – на десять, иногда пятнадцать минут. Потом снова замирали. Механизм жизни будто запускался, но чего-то не хватало – какой-то искры, которой не достаёт в искусственном электричестве.

Он часто устраивал такие сеансы ночами, когда дежурные расходились по постам, и весь морг наполнялся дрожащим светом ламп и потрескиванием электрических разрядов. Мурзилкин извлекал из холодильников тела – стариков, женщин, бездомных, случайных жертв преступлений. Каждому – свой укол «Революции», свои электроды, своя надежда. И каждый раз трупы вставали, шевелились, бродили по залу, пока ток не угасал. А потом падали – как куклы, у которых кончились батарейки.

Вячеслав Муркелович понимал: он близок к разгадке. Где-то рядом лежал ключ – формула, частота, возможно, даже слово, которое нужно сказать телу, чтобы оно вновь приняло душу. Но один он не справится. Ему нужен был помощник, союзник, кто-то, кто мог бы не только понять, но и поверить.

О своих опытах он, разумеется, молчал. Руководство больницы ни за что бы не одобрило таких экспериментов: в лучшем случае – уволили бы «по собственному желанию», в худшем – отправили бы в психиатрическую больницу или, чего доброго, под следствие за «надругательство над телами умерших».

И потому, когда очередной труп упал после десятиминутной «жизни», Мурзилкин стоял над ним, вытирая пот и произнося себе под нос:

– Нет, Вячеслав Муркелович... Не всё ещё работает как надо. Но ты это сделаешь. Ты это обязательно сделаешь.

И тогда на помощь к нему пришёл нейрофизик Останакул Ахмедович Мирзаев. Ему было двадцать пять – молодой гений ташкентской Политехники, известный в узком научном кругу своими странными идеями и ещё более странным видом. Высокий, жилистый, с плоским животом и тонкими, но удивительно волосатыми ногами, он всегда ходил в шортах, даже зимой. На лице – густые чёрные усы, придававшие ему вид восточного Моцарта. Волосы – длинные, спутанные, собранные в несколько пучков, как у африканских музыкантов, которых он боготворил.

Останакул обожал пиво, старые видеомagnetофоны и дискотеки под «Modern Talking». Но больше всего он любил науку и своего наставника – Вячеслава Муркеловича Мурзилкина, который стал для него чем-то вроде духовного отца и научного пророка. Между ними сложилась крепкая, почти братская дружба, какая бывает у одержимых одним делом людей. Они понимали друг друга с полуслова, а иногда и вовсе без слов – одним взглядом, одной идеей. Их сковывали тонкие отношения, именуемые в узбекской среде как «бесакалбазлык».

Именно эта творческая связь рождала самые смелые гипотезы – формулы для новой версии препарата «Революция-2», чертежи катодных катушек и генераторов нейтронных импульсов для усовершенствованного «Большевика». Мирзаев при протекции Мурзилкина был оформлен в морг как технический работник, а что это подразумевало никто не знал. Просто вписали в штатную единицу новую должность.

Ночами они сидели в морге – под гул вентиляции и мерцание ламп. На большом ватмане рисовали схемы, стрелки, формулы, делали заметки прямо поверх бланков вскрытий. На соседнем столе – ещё тёплые тела «повторно умерших» пациентов: тех, кого они уже поднимали, но кто вновь «ушёл».

– Мне кажется, дорогой учитель, здесь нужно добавить чуть больше карбонилата натрия-N, – говорил Мирзаев, отбивая кедами ритм нечто среднего между андижанской полькой и аргентинским танго. Он всегда был в движении, будто электричество, которое они создавали, текло по его собственным жилам.

Мурзилкин сопел, потирал нос и, прищурившись, смотрел в таблицы.

– Ты прав, мой талантливый ученик, – бормотал он. – Добавим два грамма этого вещества и увеличим напряжение поля на одну Теслу. Посмотрим, что скажет наш таксист.

Они бежали к шкафу с реактивами, смешивали порошки, вызывая облачко едкого смога и фонтан искр. Затем наполняли шприц, вкалывали смесь в тело очередного экспериментального объекта – таксиста, разбившегося ночью на Куйлюке, – и включали рубильник.

Раздался треск. Воздух заискрился. Тело на столе вздрогнуло, грудь приподнялась. Таксист открыл глаза, словно вынырнул из долгого сна, и начал медленно двигать руками – точно крутил невидимую баранку. Потом ноги дёрнулись, будто он нажимал педали газа и сцепления. Голова качнулась, глаза метнулись по сторонам в растерянности.

– Вот! Вот! Отлично! – кричал Останакул, хватая секундомер.

Тело дрожало, дышало, шевелилось. На двадцатой минуте сердце таксиста сделало последний удар, и он снова осел на стол.

– Двадцать минут, учитель! – радостно вопил Мирзаев. – Мы побили рекорд!

Он подпрыгнул от восторга, схватил Мурзилкина за руку и крепко пожал её, иногда целовал, как член мафии своему Дону Мафиози. Тот, улыбаясь и тяжело дыша, сказал:

– Ладно, ладно... Не торопись, мой мальчик. Главное – стабильность процесса. А до вечной жизни рукой подать.

Так, день за днём, ночь за ночью, в морге под больничным подвалом, два безумных учёных приближались к завершению своего великого проекта. Им казалось, что за ним стоят дела не просто научные, а – исторические. Что, быть может, именно здесь, в душном ташкентском морге, начинается новая эра человечества.

После экспериментов, шеф и его помощник занимались любовными утехами. Они не стыдились того, что все происходит в морге. Трупы не осудят, любопытные не зайдут. Сюда даже санитары заходили без особого удовольствия.

Прям на хирургическом столе обнаженные тела совершали плавные движения, по помещению плыли стоны и вздохи, словно своей энергией они заряжали все вокруг, даже дефибрилляторы, препараты и динамо-машину.

Страсть и наука иногда формировали политические интересы, а инструменты – создавали будущее. И именно в этом ташкентском морге творилось то, что могло изменить страну.

Глава вторая. Московские тревожные будни

В Центральном Комитете КПСС царило уныние, напряжение и тихое, но осязаемое отчаяние. Коридоры, некогда гулкие от шагов уверенных людей в серых костюмах, теперь звучали глухо – как туннели, в которых заблудился эхо прошлого. В кабинетах пахло холодным чаем, мокрой бумагой и беспомощностью. Телефоны молчали, факсы стрекотали какие-то никому не нужные отчёты, а секретари нервно перекладывали стопки бумаг, уже не веря, что кто-то их прочитает.

Партия, которую Ленин и его соратники выстраивали как вечную крепость духа и дисциплины, сыпалась на глазах. Её идеологические стены трескали, словно от землетрясения, а внизу – на улицах и площадях – народ уже не верил ни в светлое будущее, ни в красные лозунги. Общество устало от морализаторства, от очередей, от запретов, от бесконечных обещаний, что «ещё немного – и заживём».

Именно тогда, в прямом эфире центрального телевидения, случилось нечто невообразимое: один из старых партийцев, депутат и завсегдатай пленумов, некогда цитировавший Маркса и Ленина по памяти, вдруг на глазах у всей страны разорвал свой партбилет. Это был Борис Ефимович Полунин – высокий, грузный человек с лицом, покрытым прожилками, и глазами, в которых отражалась смесь злости и облегчения.

– Любая коммунистическая революция, – сказал он, глядя прямо в камеру, – начинается борьбой за счастье народа и заканчивается карточками на еду.

Эти слова стали, как удар в сердце. Страна, привыкшая к лозунгам вроде «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», замерла, а потом разом рассмеялась – впервые, пожалуй, искренне за десятилетия.

После этого, словно сорвавшись с цепи, люди начали рвать свои красные книжечки – символ принадлежности к «элите» советского общества. Кто-то делал это в прямом эфире, кто-то – в подъезде или на работе, кто-то – на лавочке во дворе. Партбилеты жгли, топили в унитазах, закатывали в цемент, а кто-то даже продавал – на толкучке можно было купить «членство в КПСС» за пару бутылок водки, чтобы потом торжественно сжечь на даче под шашлыки.

Иные бывшие партийцы, не теряя времени, нашли себе новое призвание. Кто-то возглавил кооператив, кто-то – коммерческий банк, кто-то – «охранное агентство», а кто-то – банальную группировку. Ещё вчера эти люди сидели на пленумах, слушали отчёты о «борьбе с тунеядством», а сегодня крышевали рынки, бары, фабрики и даже сберкассy. Красные звёзды с пиджаков заменили на золотые цепи, а вместо цитат из Ленина звучали тосты за «новую жизнь».

И с ними, как водится, быстро нашли общий язык сотрудники КГБ, МВД и прокуратуры. Те, кто раньше взаимодействовал строго по партийной линии – через райкомы, обкомы, комиссии и съезды, – теперь обменивались конвертами, услугами и информацией прямо за рюмкой коньяка. Ушёл коммунизм, но остались связи, привычки и доступ к власти – теперь просто без идеологии.

Об этом всём прекрасно знал Михаил Сергеевич Горбачёв – первый и последний президент СССР, человек, оказавшийся в положении капитана, стоящего на мостике тонущего корабля. Он видел, как страна, которой он обещал «новое мышление» и «гласность», уходит в пике. Как телевидение, ещё недавно певшее о победах социализма, теперь показывает митинги с криками «Долой КПСС!».

Он видел и страшные кадры – люди срывают с площадей плакаты с Лениным и с ним самим, швыряют их в огонь; где-то рушат бронзовые памятники Дзержинскому, Калинину,

Свердлову. Железные символы прошлого валяются на землю с глухим звоном, и этот звон отзывается в Кремле – в его сердце, в его стенах, в его кабинете.

А по телевизору интеллигенция, ещё недавно писавшая о «ленинской мудрости», теперь называла сталинизм временем массовых репрессий, голода, страха и доносов. Слово «террор» произносилось в новостях буднично, без дрожи – как будто общество вдруг осознало, в какой клетке жило.

Горбачёв понимал: удержать всё это уже невозможно. Власть – как песок, просачивавшийся сквозь пальцы.

Он сидел за своим столом, глядя на красную папку с гербом, и думал: «Ленин создал систему, Сталин закалил её страхом, Хрущёв размягчил, Брежнев законсервировал... А я, видимо, распечатал».

Он ещё звонил в республики, собирал заседания, призывал к «разуму и единству», но всё это звучало как речь дирижёра, когда оркестр уже покидает сцену.

А за окнами Кремля, над Москвой, кружили чёрные вороны и рекламные шары с надписью «Pepsi» – символы старого и нового мира, столкнувшихся в воздухе, где решался вопрос: кто упадёт первым.

В кабинете Михаила Сергеевича Горбачёва царила тишина, нарушаемая лишь мерным тиканием настенных часов и редкими щелчками от перегревающегося телефона. Огромный дубовый стол был завален бумагами, сводками, телеграммами из республик, где то и дело вспыхивали митинги, забастовки, провозглашались независимости.

На подоконнике стоял глобус – старый, советский, с красными границами «социалистического лагеря». Горбачёв время от времени медленно вращал его, проводя пальцем от Прибалтики до Кавказа, словно проверяя, сколько ещё остаётся под контролем Москвы.

Он выглядел усталым – лицо осунулось, очки сползли на кончик носа, на висках седина заблестела серебром. Но в его взгляде ещё жила какая-то последняя искра – упрямое нежелание признать поражение. Он всё ещё верил, что сможет договориться, убедить, примирить. Что союз можно реформировать, а не хоронить.

В дверь осторожно постучали.

– Михаил Сергеевич, – заглянул Яковлев, советник, человек с вечно прищуренным взглядом и вкрадчивым голосом, – вот последние сводки по союзным республикам.

Он положил папку на стол.

– Вильнюс, Рига, Киев, Тбилиси, Алма-Ата – все требуют полной независимости. В армии растёт недовольство. Народ уже не верит в реформы, Михаил Сергеевич. Перестройка – это теперь анекдот.

Горбачёв молчал.

Он снял очки, потер переносицу, потом устало сказал:

– Значит, поздно.

– Не поздно, если применить силу, – раздался грубый голос. В кабинет вошёл Крючков, глава КГБ, плотный, квадратный человек с глазами, в которых не отражалось ничего, кроме расчёта. – Порядок можно вернуть. Ввести чрезвычайное положение, арестовать зачинщиков, перекрыть телевидение. Народ быстро остынет.

– Вы не понимаете, – ответил Горбачёв хрипло. – Силой можно удержать стены, но не души. Мы уже не в тридцатых годах, Владимир Александрович. Люди не те. Страх больше не работает.

– А может, именно поэтому всё и рушится, – усмехнулся Крючков. – Потому что мы забыли, что власть держится не на гласности, а на страхе.

В углу кашлянул Николай Иванович Рыжков, бывший председатель Совета Министров, – седой, измученный человек, которого кризис превратил из государственного деятеля в хронического больного.

– Хватит, – сказал он тихо. – Страна умирает, а мы всё спорим, как её лечить: таблеткой или пулей.

На этих словах повисла долгая, тяжёлая пауза. Из окна доносился шум площади – там, за Кремлёвской стеной, собирались люди, звучали лозунги: «Долой партию!», «Да здравствует Россия!», «Свободу!». И звучала песня Виктора Цоя:

"Перемен требуют наши сердца!

Перемен, мы ждём перемен!"

– Это всё Ельцин, – процедил Крючков, глядя в окно. – Он ставит народ против нас. Этот самозванец из Белого дома думает, что он – спаситель.

– Может, народ просто выбрал другого вождя, – тихо сказал Яковлев, не глядя на шефа. – А может, просто устал от нас.

Горбачёв поднялся, подошёл к окну. На мгновение он показался стариком – не президентом, не вождём, а человеком, пережившим собственную эпоху.

Он видел, как по площади шли группы людей с флагами России – бело-сине-красными, давно забытыми, а теперь снова восставшими из пыли истории.

– Вот и всё, – произнёс он. – Символы меняются, а вера – нет. Люди всё так же ждут чудо, просто теперь у чудес другой цвет.

Он вернулся к столу, взял ручку и долго вертел её в пальцах.

– Господа, – наконец сказал он, – у нас больше нет страны. Есть только инерция. И я не знаю, как долго она продержится.

Все молчали. За стенами кабинета шагали охранники, где-то звонили телефоны, но внутри стояла мёртвая тишина. Кремль – этот некогда непоколебимый монолит – теперь звучал как пустой барабан, в котором гулко перекачивались отголоски уходящего века.

Михаил Сергеевич подошёл к окну, отёрнул тяжёлую штору и взглянул на Красную площадь. Под густыми сумерками там, как и прежде, стоял Мавзолей – тёмный, строгий, как глыба застылой эпохи. Красные гранитные плиты отливали холодным блеском, а у входа неподвижно стоял почётный караул. В слабом свете фонарей здание напоминало саркофаг самой истории, в котором покоился не только человек, но и целая идея.

Горбачёв задержал взгляд на чёрном силуэте у подножия кремлёвской стены. В груди шевельнулось что-то вроде вины, странного, неосознанного чувства – будто он предал того, кто когда-то дал всему этому смысл.

Он тихо произнёс, почти не разжимая губ:

– Эх, если бы был жив Владимир Ильич...

– Что? – не расслышал Крючков, подняв голову от бумаг.

Горбачёв обернулся.

– Я говорю, если бы Ленин был жив, – произнёс он уже громче, – то всего этого не случилось бы. Он бы не допустил развала. Он бы укрепил страну, поднял бы её с колен. У него хватило бы воли и веры.

В углу, у шкафа с книгами, нервно переминался Геннадий Иванович Янаев – вице-президент, человек с круглым лицом, влажным лбом и вечно дрожащими руками. Его глаза беспокойно бегали от одного присутствующего к другому, словно он пытался понять, к кому лучше примкнуть в этот вечер: к истории или к будущему. На его лице всегда было выражение служебного одобрения, будто он заранее соглашался со всем, что скажет начальство, – даже если не понимал ни слова.

– Да... да, Ленин – великий человек, – поспешно поддакнул Янаев, прокашлявшись и потирая ладони. – Он ведь выиграл Гражданскую войну, выдержал иностранную интервенцию, организовал НЭП, электрифицировал Россию. Он всё смог! Это был... руководитель с железом внутри! Нам его очень не хватает.

Горбачёв слушал его, но не отвечал. Он снова посмотрел в окно. Мавзолей стоял, как символ вечности и одновременно гниения, под сенью которого спала идея, когда-то потрясшая мир.

Да, Ленин сумел поднять разрушенную страну. Из хаоса, из голода, из гражданской резни он создал новое государство – пусть жёсткое, противоречивое, но живое. Он говорил – «Учиться, учиться и учиться», а сам, казалось, знал ответы на все вопросы.

А у него, у Горбачёва, ответов больше не было. Он пытался реформировать социализм, но вышло так, будто он распилил фундамент и удивился, почему здание падает.

Он применял ленинскую риторику, призывал к «демократизации партии», к «новому мышлению» – но от этих слов веяло не революцией, а растерянностью. Ленин строил, он – разбирали; Ленин вдохновлял, он – оправдывался.

Внутри всё сжалось от осознания: он – последний из вождей, но не из созидателей, а из тех, кто подводит черту.

Внизу, под его окном, Мавзолей стоял недвижно. И где-то глубоко, в каменном сердце Кремля, Михаил Сергеевич почти физически ощутил – тот, кто лежит в саркофаге, знает. Знает, что его великое дело дошло до конца – но не туда, куда он мечтал.

– Владимир Ильич... – прошептал Горбачёв уже себе под нос. – Мы всё испортили.

Он медленно вернулся к столу, где ждали его Крючков, Янаев и Яковлев, и вдруг понял, что разговор о Ленине – не просто воспоминание. Это было пророчество: Ленин возвращается. Не в книгах, не в речах, а – может быть – совсем скоро, иначе, буквально.

Глава третья. Планы хозяина морга

В Ташкентской городской больнице № 6 имя Вячеслава Муркеловича Мурзилкина проносили с особым трепетом – где-то на грани уважения, страха и суеверного восторга. Он был не просто патологоанатомом. Он был хозяином морга – безусловным владыкой царства мёртвых, где истина звучала только из его уст.

Даже главврач, важный человек в белом халате, который обычно не терпел соперников, с благоговением говорил на еженедельных планёрках:

– Коллеги, вы можете ставить любые диагнозы, назначать любые анализы, но правду о человеке узнает только хозяин морга.

– Наш Вячеслав Муркелович! – дружно подхватывали врачи, медсёстры, фельдшеры и даже санитар по кличке Кабан, любивший хрустеть семечками во время вскрытий.

Все знали: если Мурзилкин сказал, что умер от сердца – значит, сердце; если от судьбы – значит, так оно и есть. Он мог препарировать не только тела, но и саму правду.

Но истинное могущество Мурзилкина заключалось не в скальпеле, а в деньгах. Он единственный в больнице сумел применить формулу Карла Маркса – «деньги – товар – деньги» – не в теории, а в медицинской практике.

Он покупал у мясокомбинатов и ветеринарных лабораторий органы животных – свиные сердца, бычьи почки, ослиные печёнки, лошадиные сухожилия – и, применяя свой препарат «Революция» и электрические импульсы из установки «Большевик», оживлял их. Потом вшивал в человеческие тела – богатым пациентам, которые хотели жить, даже если для этого нужно было стать наполовину зоопарком.

Так Мурзилкин стал первопроходцем зоотрансплантологии, пусть и нелегальной. В то время как за границей учёные корпели над экспериментами на мышах и свиньях, мечтая о будущем, когда органы животных смогут спасать людей, в подвале ташкентской больницы уже вовсю работал реальный конвейер. Там, среди запаха формалина и табачного дыма, Вячеслав Муркелович спасал тех, кто мог заплатить – и плотно, в валюте.

Платили ему, разумеется, не бедные пациенты. В первую очередь – мафиозные боссы и партийные функционеры, у которых тело давно не поспевает за аппетитами. Так, например, главе Каракамышской ОПГ по кличке Бобо-сэр он вживил печень осла. Своя у того давно превратилась в губку после десятилетий водочной терапии. Новая печень, оживлённая «Революцией», оказалась вынослива, как трактор: бандит теперь мог пить без передышки, соревнуясь с водкой, как рыба с водой.

– Славка, – говорил он Мурзилкину, стуча по боку, где билось ослиное чудо, – ты мне жизнь спас! И бизнес тоже!

– Главное, не забудь вовремя чистить фильтр, – усмехался Мурзилкин.

Другому клиенту – второму секретарю Ахангаранского горкома партии, известному дамскому угоднику и любителю «производственных романов», – доктор пересадил нечто куда более специфическое: дополнительный причиндал, причём от лошади. После операции партийный деятель стал улыбаться чаще, говорить громче и носить исключительно просторные брюки.

– Жизнь заиграла, Вячеслав Муркелович! – благодарно шептал он. – Теперь я, можно сказать, на передовой идеологического фронта.

Бизнес процветал, клиенты шли толпами, не жалея бабла. Так, шаг за шагом, Вячеслав Муркелович сколотил приличный капитал. Деньги он прятал не в банках (кому тогда доверишь?), а в холодильных камерах морга – в старых простынях, среди трупных бирок и медицинских журналов.

Но богатство было для него не целью, а средством. Потому что Мурзилкин оставался коммунистом – причём не номинальным, а ортодоксальным. В то время как другие рвали партбилеты и становились кооператорами, он продолжал верить в учение Маркса и Ленина как в биологический закон.

Ему казалось, что человечество – это организм, больной капитализмом, и его можно вылечить только воскресением правильных идей. Он читал Ленина по вечерам, в лаборатории, между экспериментами. И видел в нём не просто теоретика, а пророка живой материи.

– Ленин, – говорил он Останакулу, – понимал главное: чтобы построить новое общество, нужно воскресить не только идеи, но и тела.

И теперь, сидя в морге, он мечтал о великом проекте: вернуть Ленину жизнь.

Не в переносном, а в самом прямом смысле. Чтобы вождь вновь поднялся, посмотрел на мир своими холодными глазами и сказал: «Товарищи, всё это вы сделали неправильно».

Он уже знал, где достать нужные материалы, как усилить формулу «Революции» и каким образом доставить тело из Москвы в Ташкент – пусть даже втайне, через криминальные каналы. Вячеслав Муркелович понимал: если Ленин оживёт, то начнётся новая история. Та, где смерть будет не концом, а началом нового социализма – социализма живых и мёртвых.

И Мурзилкин готовился к новой эпохе – не ради славы, не ради богатства, а ради идеи, в которую верил так же свято, как другие верят в Бога. Он чувствовал, что на его плечах лежит долг перед историей, перед наукой и перед самим Лениным. Но знал и другое – делать это надо с чистотой помыслов, с высокой моралью и внутренней дисциплиной, достойной истинного революционера.

Поэтому, когда в лаборатории гас свет и за окном стихал гул ташкентской ночи, он вместе с Останакулом совершал ритуал очищения. Они раздевались догола – без тени стыда, без смущения – и становились перед большим портретом Владимира Ильича, висевшим над анатомическим столом. На портрете Ленин смотрел куда-то вдаль, в бесконечность, как будто видел небо будущего коммунизма.

И тогда два голых человека – пожилой патологоанатом с лысиной и животиком и худой нейрофизик с африканскими дредами и длинными усами – поднимали руки кверху и громко, с хрипом, но с чувством, исполняли гимн:

«Вставай, проклятьем заклеймённый,

Весь мир голодных и рабов!..»

Голыми они стояли не ради шутки. Это был символ очищения – доказательство, что они не прячут за одеждой ничего буржуазного.

– Понимаешь, Останакул, – говорил Мурзилкин, держа ладонь на сердце, – в брюках может скрываться предатель, в пиджаке – соглашатель, а в галстук – либерал. А мы с тобой голые, значит – чистые!

Нельзя было запятнать идеи коммунизма французским галстуком, китайскими трусами, итальянскими ботинками или американскими джинсами «Леви Страус».

Мирзаев относился к ритуалу со всей серьёзностью. Он был человек романтической веры – честный комсомолец, не запятнавший ни честь, ни билет. Хотя по уставу в комсомоле можно было состоять лишь до 28 лет, ему уже стукнуло 25, и он заранее беспокоился:

– Думаю, мне продлят членство, Вячеслав Муркелович. Я ведь не простой физик, я – нейрофизик! А когда исполнится сорок, вступлю в партию. Ведь я заслужу это право! – говорил он с пылающим лицом и верой юного идеалиста.

– Нет, милый мой друг, – прервал его Вячеслав Муркелович, поправляя очки. – КПСС – это дохлая организация, возглавляемая пятнистым Горбачёвым. Он продал идеи Ленина за доллары, как мясо на рынке! Мы возродим ВКП(б) – подлинную партию, без словоблудия, без реформаторов и интеллигентских нюней! Ленин вернёт себе силу, авторитет и власть! Это будет партия настоящих борцов, не говорящих о счастье человечества – а создающих его!

Он говорил с такой уверенностью, что даже электрические лампы подрагивали, будто вторя его голосу.

– Наш бой с врагами Великого Октября начнётся не в Москве, – продолжал он, возбуждённый, с блеском в глазах. – В Москве теперь одни предатели, ревизионисты и либералы, там в Кремле давно засели импотенты духа. Нет! Начнём с Ташкента!

Он ударил кулаком по столу, и пробирки звякнули.

– Потому что узбекский народ ближе всех к коммунизму. Они трудолюбивы, уважают старших, живут общиной, а не ради себя. У них в крови – коллективизм! Они не боятся жары, голода и трудностей. Они – естественные строители социализма!

Останакул слушал его, и сердце его наполнялось гордостью. Да, он тоже так считал. Для него коммунизм не был сухой теорией, как у московских философов. Это был живой строй, при котором узбеки получили свою государственность, возродили язык, культуру и веру в справедливость.

– Да, учитель, – шептал он с восторгом. – Коммунизм – это наш дух! Это как плов – когда всё смешано, но всё на месте!

Вячеслав Муркелович усмехнулся, похлопал его по плечу:

– Правильно, мой ученик. Мы сварим свой исторический плов – и подадим человечеству!

И где-то в глубине морга, за железной дверью, что-то звякнуло. Может, пробирка. А может, история, которая уже готовилась воскреснуть из мёртвых.

– А как мы это сделаем? – спросил Останакул, когда ритуал очищения закончился. Они снова оделись, и, как ни в чём не бывало, сели за большой хирургический стол, на котором Мурзилкин уже накрыл дастархан – простую скатерть, ставил миски с пловом, горки лепёшек, парующую самсу и, конечно, бутылку арака – узбекской водки, чистого и священного напитка рабочих и крестьян. Для хозяина морга присутствие трупа на столе не было шокирующим – он к этому привык. Мёртвые не просят, не ворчат и не отнимают еду.

Останакул без смущения уселся рядом и, не глядя, стал ложкой за ложкой черпать рассыпчатый рис, разбрасывая крошки лепёшки по колену и прямо на ногу лежащего неподалёку трупа. Иногда он машинально подталкивал бедро мёртвого ботинком, как будто проверял, не мешает ли тот. Ему показалось забавным, когда кусок жареного мяса отскочил с ложки и, как случайный подарок судьбы, упал прямо в приоткрытый рот трупа. Челюсть, сшитая хирургическими швами, на секунду захлопнулась, словно проглотив кусок; Мурзилкин улыбнулся сухо и продолжил раскладывать угощение.

– Мы с тобой создали «Революцию», – сказал Вячеслав Муркелович, глядя в стакан, – и для чего она?

– Чтобы оживлять органы животных и вшивать их в тела людей, – без задней мысли ответил Останакул. Он не подозревал, как далёк от истинной цели их эксперимента; его понимание ограничивалось ремеслом и удержанием жизни на пару минут дольше, чем обычно.

Мурзилкин сделал глоток арака и поморщился – напиток жёг пищевод, но разогревал и решимость.

– Нет, друг мой, – тихо проговорил он, – не ради этого. Не ради торгов и подкрепления. Чтобы воскресить Владимира Ильича Ленина и чтобы революция началась заново. Здесь. В Ташкенте.

Останакул резко стиснул ложку.

– Но ведь его тело в Москве! – выпалило ему в ответ, и кусок мяса выскользнул из его рта и закатился за хирургический стол. Парень вилок проткнул его, но на самом деле подхватил кусок трупного мяса. Но поскольку был ошарашен информацией, то сжевал его, даже не моргнув.

Мурзилкин, не теряя деловой минорности, откусил огурец и посмотрел на ученика с довольной лёгкой усмешкой.

– Пока – в Москве, – проговорил он. – Пока лежит в Мавзолее, пока бережно стоит в стеклянном саркофаге и пока охраняется Кремлёвским полком. Ключевое слово – пока.

– А что потом? – шёпотом спросил Останакул, и в его голосе дрогнул страх.

– Потом мы доставим его сюда, – сказал Вячеслав Муркелович спокойно, – в нашу горбольницу. И наша обязанность – оживить вождя мирового пролетариата. Он вернёт страну на прежние рельсы, прогонит Горбачёва и всех этих бюрократов, что жируют на партийной кассе.

Останакул пролепетал имя, которое у него давно вызывало отвращение:

– То есть... самого Ислама Абдуганиевича?.. – произнёс он тихо, и сердце его судорожно забилося.

– И его, – холодно кивнул Мурзилкин. – Первый предатель среди узбекских коммунистов. Ты видел, как он вел себя на последнем съезде КПСС?

На мгновение в морге погас свет: лампы на секунду помаргали, холодильные агрегаты глухо заурчали, и в этой паузе повисла странная тишина – частое явление в городе, где напряжение в сети щёлкало, как усталый краб. Полупрозрачная луна просветила окно, затем моторы в холодильных шкафах снова завелись, и холодный гул заполнил подвал. Лампочки мигнули и восстановили привычный медицинский белый свет.

– Нет, домла, – прошептал Останакул, и в его груди поднялась волна возмущения, которая вырвалась в резком фырканье. Глаза заблестели, губы поджались – он хотел встать, потребовать справедливости, но вместо этого уперся локтем в стол и опять стал есть, стараясь заглушить дрожь.

– Он шевелил губами и не пел «Интернационал», – прошипел патологоанатом, бьющий по столу, словно проверяя пластичность своей ярости. – Весь съезд сидел с кислым лицом. А вернулся в Ташкент и провозгласил себя президентом Узбекской Советской Социалистической Республики! Слухи доходят о том, что он готовит реформу – отказаться от социализма и превратить всё в республику с уклоном в нечто другое!

Останакул недовольно фыркнул, лицо его покраснело от смеси стыда, возмущения и выпитого арака. Он вскинул голову, глаза его сверкнули огнём молодости – не столько от веры, сколько от энтузиазма, который неистовствовал в его груди.

– Да-да, – сверкнул в ответ Мурзилкин, – больно им, черт бы их побрал! – и выпил ещё один стакан крепкого арака. Останакул, не раздумывая, поддержал учителя и сделал большой глоток.

С улицы доносилась ломанная, чуть визгливая поп-песня «Фристайла»: «Больно мне, больно...», и рэфрен лился сквозь стекло. Музыка казалась Мурзилкину и Останакулу оскорблением, музыкой гибели; она прерывала священный разговор и мешала слуху революции.

– Больно им будет, – пробормотал Вячеслав Муркелович, сжав кулак. – Когда красногвардейцы во главе с Лениным скинут их в овраг забвения.

Останакул встал и медленно подошёл к окну. Он закрыл раму, плотнее прижав штору – и песня тут же затихла, став приглушённым эхом. В комнате снова осталась только их двоичная симфония: плеск арака в стаканах, шорох ложек, лёгкое тиканье хронометра и гул холодильников. В это мгновение два человека в подвале, среди трупов и пробирок, ощутили себя центром мира – и одновременно его локальным, странным ядром.

Глава четвёртая. Похищение мумии

Глубокая ночь накрыла Москву своим бархатным покрывалом. Темнота была густой, почти вязкой – даже свет редких фонарей, отражаясь в лужах после вечернего дождя, не мог пробиться сквозь этот туманный мрак.

Город дышал усталостью: последние автобусы гудели пустыми кузовами, редкие автомобили прорезали ночную столицу своими фарами, как ножом по ткани. В воздухе стояла тихая, вязкая тревога, будто сама Москва чувствовала – приближается что-то неладное.

На Красной площади царила торжественная тишина. Огромное пространство, окаймлённое зубцами Кремлёвской стены, выглядело как вымершее святилище. Красная звезда над Спасской башней по-прежнему сияла, но уже не вдохновляла – её свет стал холодным, равнодушным. Когда-то она была символом веры, теперь – лишь декорацией уходящей эпохи.

Перед Мавзолеем стоял почётный караул – два солдата в шинелях, с белыми ремнями, сапогами, натёртыми до блеска, и карабинами, покоящимися у плеча. На их лицах застыла маска дисциплины – взгляд прямой, дыхание ровное. Только лёгкий пар вырывался изо рта, когда они тихо выдыхали в прохладную ночь.

Лето 1991 года было тёплым, но по ночам прохлада с Москвы-реки ползла вверх, вкрадчиво пробираясь под воротники и сквозь рукава. С реки тянуло влагой и чем-то железным, будто запахом старого времени.

И вот, около полуночи, у Мавзолея бесшумно притормозили три машины – две милицейские «Волги» и один микроавтобус «РАФ» с медицинскими эмблемами. Их прибытие выглядело внезапно, но без суеты. Фары тут же погасли.

Часовые бросили короткие взгляды – ни звука, ни окрика. Никто не предупреждал их о ночной операции. Значит, что-то чрезвычайное. Возможно, проверка, возможно, происшествие. Но солдаты не дернулись – не положено. Да и кому могла прийти в голову безумная мысль совершить преступление на Красной площади, под самой стеной Кремля?

Да, в городе гремели взрывы – бандиты выясняли отношения, подрывали машины, поджигали дачи и рестораны. Но здесь, в сердце советской державы, братва не лезла. Это была святая территория, где до сих пор ходил отголосок Ленина.

Из «Волг» вышли люди в милицейской форме. На первый взгляд – обычные сотрудники. Но в движениях чувствовалась не казённая выправка, а что-то воровское, расслабленное. Их было десять человек, и каждый держался уверенно, слишком уверенно для милиции. Под кителями виднелись контуры пистолетов «ТТ» и «Макаров».

Командовал ими грузин Гиви – тот самый, носатый, вечно мрачный, с лицом, будто высеченным из гранита. Рядом шёл его напарник, по прозвищу Мускул – здоровяк с короткой шеей и татуировками, выцветшими от лагерной жизни. Именно эти двое, пару дней назад стоявшие у Мавзолея, теперь вернулись сюда – не просто смотреть, а действовать.

– Ну что, братцы, пошли работать, – шепнул Гиви, перекрестившись на звезду Кремля. – Тихо, чтоб без грохота.

Двое подошли к часовым. Один из «милиционеров» достал бумагу с печатью и сказал официальным голосом:

– Приказ из Кремля! Проверка систем безопасности. Откройте проход.

Часовые переглянулись. Приказ в такое время? Без предупреждения? Но печать – настоящая, свет отражается, словно с типографии.

– Подождите, товарищи... я уточню... – начал один.

В этот миг Гиви сделал едва заметный знак. Двое его людей подошли сзади и молниеносно ударили прикладами по затылкам часовых. Те осели, не издав ни звука. Один лишь карабин глухо звякнул о гранит.

– Быстро в кусты, – шепнул Мускул, подхватывая упавшего за плечи. Тела унесли в тень, за бетонное основание мавзолея.

Теперь дорога была свободна. Из «РАФа» вышли ещё трое в белых халатах – под видом врачей скорой помощи. Один катил носилки, второй нёс металлический кейс, третий – инструменты. Всё выглядело, как ночная санитарная операция.

Гиви, харкнув под ноги, подошёл к массивной двери Мавзолея, нащупал карман и достал ключ-карту. Замок щёлкнул тихо, будто сам Ленин позволил войти.

– Всё, заходим, – коротко бросил он.

Дверь тяжело открылась, пахнув холодом, камнем и старым формалином. Внутри было темно, лишь тусклый отсвет ламп падал на гранитные плиты пола.

– Вот он, Владимир Ильич, – прошептал Мускул, криво усмехнувшись. – Спит сто лет, пора вставать, вождь.

Они вошли внутрь – тихо, но решительно, как похитители времени.

Снаружи Красная площадь оставалась спокойной, равнодушной. Красная звезда по-прежнему горела, но, казалось, её свет стал чуть тусклее, будто сама история отвела взгляд от того, что происходило под её сиянием.

Трое остались у входа – прикрывать товарищей, или, как говорили в воровской среде, «стоять на стрёме». Остальные медленно продвигались по Мавзолею.

Внутри здание поражало своей строгой, почти сакральной симметрией. Пол был выложен тёмным гранитом, на котором отражался тусклый свет ламп. Стекланный саркофаг с телом Ленина стоял в центре зала, на слегка возвышенной платформе. Вокруг – аккуратно расставленные стулья и небольшие подиумы для посетителей, но сейчас все они были пусты. На стенах развевались красные флаги с золотыми серпом и молотом, а под ними витые колонны и бронзовые панели придавали помещению строгий, почти монументальный вид. Лёгкий аромат формалина и старого камня висел в воздухе, создавая ощущение, что время здесь остановилось.

К удивлению Гиви, рядом с саркофагом стоял один солдат Кремлёвского полка. Он был подтянутый, в парадной форме, с прямой спиной и натянутыми ремнями, но не выглядел агрессивным – скорее внимательно наблюдал за происходящим. Рядом с ним стоял врач – человек средних лет, с аккуратной бородкой и очками, в белом халате, который отвечал за бальзамирование и сохранность тела вождя. Он держал фонарь и внимательно рассматривал пальцы Ленина.

– Здесь, под ногтями, я вижу следы бактерий, – говорил врач тихо, почти шёпотом, – если не устранить их, микроорганизмы нанесут непоправимый ущерб коже. А с каждым разом всё сложнее сохранить мумию в хорошем состоянии.

Солдат кивал, слушая. Он уже слышал рассказы старших коллег, что тело Ленина портится «как морковь на холоде», если не уделять ему должного внимания – кожа тускнеет, ткани теряют упругость, а забота о сохранности превращается в бесконечный ритуал.

Появление незнакомцев их, конечно, удивило. Врач слегка отшатнулся, сжимая фонарь, и спросил:

– Вы кто?

В этой тишине Мавзолея, где каждое движение отражалось эхом по гранитным плитам, эти слова прозвучали как вызов. Однако солдат чутьем понял, что вошедшие – это чужаки, он хотел было вскинуть винтовку, как Мускул подскочил к нему и с размаху всадил нож и провернул несколько раз. Солдат харкнул кровью и повалился на пол. Из раны толчками вытекала темная жидкость.

Испуганный врач попятился назад, но Гиви выстрелил из пистолета с глушителем. Звук был негромкий, хотя и эхом отдался по внутреннему пространству Мавзолея. С простреленной головой врач упал на пол.

– У нас мало времени, – коротко сказал Гиви, глядя на своих товарищей.

Пришедшие поняли всю серьёзность момента. Без лишних слов они приступили к операции. Тусклый свет ламп отражался в стекле саркофага, когда один из них аккуратно открыл крышку. Стеклопанель слегка закрипела, но никто не дрогнул. Осторожно, почти с почтением, они извлекли тело Ленина и уложили его на принесённые носилки. Простынь накрыла тело полностью, скрывая любые признаки погружения в мертвенность, словно храня в себе тайну ушедшей эпохи. Движения были точными, слаженными, как у опытных хирургов или театральных актёров: ни лишнего звука, ни суеты.

Наконец, тело было перенесено в медицинский «РАФ», который заранее подготовили. Все прыгнули в машины. «Волги» тихо урчали двигателями, «РАФ» с мумифицированным вождём был аккуратно пристёгнут ремнями.

Машины рванули с места. Бандиты повели «Волги» в одну сторону – по тихим улочкам к северу Кремля, обходя главные проспекты, чтобы не привлекать внимание. За рулем «РАФа» находился Гиви, а в салоне с телом Ленина сидел Муску. Там же были и три «врача». Микроавтобус направился на Казанский вокзал, где уже стоял состав Ташкент-Москва-Ташкент, прибывший полчаса назад на путь номер два.

Однако они не учли одного – один из оглушённых часовых постепенно пришёл в себя. Шатаясь, он добрался до старого телефона экстренной связи на стене мавзолея и, едва сумев дотянуться до трубки, заорал в микрофон:

– Пост номер один! Нападение! Похищен Ленин! Я видел две милицейские «Волги» и...

Договорить он не успел. Последние силы оставили сознание, и он рухнул обратно, снова теряя связь с реальностью. Внутри Мавзолея снова повисла тишина, словно сама история замерла, ожидая своего нового поворота.

Дежурный Кремлёвского полка вошёл в ступор, услышав сообщение часового. Он уставился на чёрную трубку, не веря своим ушам. Рука дрожала, когда он пытался перехватить сигнал, а глаза бегали по списку номеров на старой панели. Несколько раз он механически крутил ручку телефона, набирая ближайшие дежурные части, затем центральный пункт управления, потом связи с МВД и УВД города. Он говорил быстро, прерывался, повторял слова, уточнял и перепроверял – но всё это казалось хаотичным, словно сама ночь заволокла сознание дежурного туманом.

В городе объявили план «Перехват». Две угнанные милицейские машины были обнаружены на Ленинградском шоссе. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались заблокировать путь, произошла перестрелка. Огонь раздался резким эхом по ночному шоссе, сверкнули вспышки трассеров, металлический гул ударял по ушам. В ходе боя все бандиты были уничтожены. Семеро сотрудников Московского ОМОНа получили ранения различной степени тяжести – кто с ушибами, кто с порезами, кто с огнестрельными ранениями, – их срочно эвакуировали на ближайшие машины скорой помощи, оставляя после себя следы крови и запах пороха.

Труп Ленина в «Волгах» не обнаружили. Это породило настоящую панику: начался поиск по всему ночному городу. Автомобили блокировали улицы, патрули обыскивали переулки и площади, осматривали станции метро. Никому в голову не пришла мысль проверить железнодорожные составы – а именно туда, как оказалось позже, направлялись похитители.

Гиви и Мускул тем временем уже доставили «груз» на Казанский вокзал. Ленин находился в цинковом гробу, аккуратно уложенный. На крышке стояли документы, официально указывающие, что внутри находится погибший на стройке сержант стройбата Ибрагим Худи-

носов из Газалкента – сорвавшийся с пятого этажа при сварке труб. Бумаги к «грузу 200» были оформлены идеально.

Милиционеры, стоявшие у входа на платформу, лишь лениво махнули руками: «Проезжайте». Такие грузы на Казанском вокзале были привычным делом – тела рабочих, солдат и строителей регулярно отправлялись по стране. Подозрений не возникло. К тому же дежурные не получили ни малейшей информации о том, что из Мавзолея только что похитили саму реликвию Советской власти. В этой ночной тьме город продолжал жить своей странной, спокойной жизнью, даже не подозревая, что история уже скрытно покинула своё привычное место.

Между тем на путях Казанского вокзала кипела своя ночная жизнь. Пары пара выходили из вагонов, разнося по платформам запах свежих пирожков, хрустящей самсы и крепкой водки. Пассажиры, как прибывшие, так и ожидавшие отъезда, торопливо покупали еду, чтобы не остаться с пустыми желудками на холодных скамьях.

У входов крутился сутенёр, тихо предлагая услуги женщин разных возрастов, чаще всего престарелых, которые стояли в полутьме, нервно куря и бросая беспокойные взгляды. Среди них встречались бывшие учителя, инженеры, даже профессора вузов, потерявшие работу и прежнее положение, – жизнь нынче кусалась, и старые профессии нередко смешивались с самым древним ремеслом.

Параллельно из вагонов выгружали овощи и фрукты. Сладкий, свежий аромат распространялся по всему вокзалу, смешиваясь с запахами дыма и жареной выпечки. Узбекские вагоновожатые ловко перегружали ящики, предлагая оптовым покупателям восточные товары – специи, сухофрукты, орехи. Завязывались споры о килограммах, о ценах, но после торговли деньги перекачывали из одних рук в другие, словно участники танцевали свой денежный ритуал.

Узбеки умели и любили торговаться – это была их естественная среда, привычка и образ жизни. Оптовики тоже не просто считали барыши, но и присматривали, как вести переговоры дальше. Милиционеры, стоявшие на платформах и среди вагонов, тоже не теряли времени – их интерес был не в охране общественного порядка, а в том, чтобы получить свою долю с этого постоянного потока товаров и денег. Иногда хватало одного взгляда или намёка, чтобы сделка завершилась, и деньги оказались в нужном кармане.

Так ночь на Казанском вокзале превращалась в собственный, живой, шумный рынок – смесь запахов, голоса торговцев, тихие угрозы сутенёра и мелькающие деньги – всё это сливалось в единый ритм ночной Москвы, где жизнь кипела, несмотря на холод и тьму.

Медицинский «РАФ» остановился у последнего вагона, того самого, где хранились «нестандартные» грузы. «Врачи» осторожно извлекли гроб из салона и занесли его в вагон, словно переносили драгоценную, но крайне опасную тайну. Гиви и Мускул вышли следом, внимательно оценивая обстановку: охранники отсутствовали, посторонних глаз не было – всё выглядело в полном порядке. Старший вагоновожатый просмотрел бумаги, поставил свой штамп и сказал:

– Можете размещать гроб, – и указал место. Ему не впервой было транспортировать тела соотечественников на родину – печальная процедура сегодняшнего дня.

Туда и положили тело Ленина.

Один из «врачей» по привычке заглянул внутрь вагона и тихо спросил:

– Что передать братве?

– Расчёт после возвращения, – спокойно ответил Гиви. – Кассу делить будем как договорились.

– Вобщак? – уточнил «врач».

– Процент и вобщак, – хмыкнул грузин. – Всё как полагается. Там оплата не в рублях, а в СКВ! В долларах!

Довольные ответом бандиты вернулись в микроавтобус, и «РАФ», фырча мотором, тихо покинул вокзал. Гиви и Мускул зашли в вагон. Им было заранее выкуплено место в СВ. Гиви нес небольшой чемоданчик.

– У меня всё есть для трёхдневной дороги, – сказал он, усаживаясь за столик. Из чемоданчика он извлек бутылку коньяка, колбасу, лимоны. Мускулу это сразу понравилось.

– Ты предусмотрительный, генецвале, – похвалил он. Пить он любил и умел.

– Вах, обижаешь! – засмеялся Гиви, шурясь от удовольствия.

– У меня в дорогу есть карты, – произнес быковатый.

Грузин усмехнулся:

– Я бы удивился, если бы предложил сыграть в нарды или шахматы.

Пассажиры уже занимали свои места, было шумно. Спустя час поезд тихо тронулся, набирая скорость и направляясь в сторону Ташкента. В СВ-каюте уже спали два бандита, усевшись на верхние полки и крепко прижавшись к своим вещам. А в последнем вагоне, за ширмой и крепко зафиксированный ремнями, трясся цинковый гроб. Внутри «дремал» мертвый вождь пролетариата – его спокойное, неподвижное лицо казалось почти живым в тусклом свете лампы вагона. Каждое покачивание вагона передавалось на гроб, словно история, заключённая внутри, сама пыталась пробудиться от долгого сна.

Глава пятая. Переполох в Кремле

Михаил Сергеевич проснулся от резкого телефонного звонка. Было пять часов утра – то время, когда даже Москва дышит ровнее, и лишь дежурные огни над Кремлём тускло отражаются в мутной Москве-реке. Полусонный президент СССР, на ощупь отыскав трубку, промямлил:

– Горбачёв слушает...

– Товарищ президент! У нас ЧП! – донёсся взволнованный голос председателя КГБ Владимира Крючкова.

– Что ещё за ЧП? – недовольно пробормотал Горбачёв, с трудом приходя в себя. – Надеюсь, не очередная Чернобыльская АЭС?

Воспоминание о 1986-м пронзило сознание. Тогда – Чернобыль, катастрофа, радиация, паника, недоверие всего мира к советской власти. Изменились не только политические отношения, но и сам образ страны – из сверхдержавы она вдруг стала напоминать колосса на глиняных ногах. Горбачёв тогда ночами не спал, подписывал телеграммы, пытался тушить не только атомный реактор, но и пожар международного скандала. Последнее, чего ему хотелось, – новый кризис.

– Нет, не АЭС, – ответил Крючков.

– Подлодка затонула? – нахмурился президент, вспомнив субмарину «Комсомолец», которая ушла на дно Баренцева моря, унеся жизни моряков и гордость советского флота. Тогда, в 1989-м, он сам принимал донесения, глядя на фотографии обгоревших корпусов. "Если не атом, то море", – подумал он, мрачно затягиваясь прошлым.

– Нет. Хуже, – глухо произнёс Крючков. – Украли тело Ленина.

Некоторое время в трубке стояла тишина. Только слышно было, как Горбачёв тяжело сопит, не веря своим ушам.

– Вы с ума сошли, Владимир Александрович! – наконец рявкнул он, садясь на кровати. – Что за шутки в такое утро?

– Михаил Сергеевич, моё ведомство когда шутило? – сурово ответил глава КГБ. – Совершено нападение на часовых. Двое ранены, один убит. Врач, отвечавший за сохранность тела, застрелен. Тело вождя отсутствует.

Горбачёв подскочил с кровати, едва не зацепив лампу. В панике он стал шарить по полу, ища носки. В комнате загорелся свет. Раиса Максимовна, до этого спокойно спавшая, приподнялась на подушке, глядя на мужа широко раскрытыми глазами.

– Война, Миша? – выдавила она, вспомнив тревожные кадры новостей о Рейкьявике, о встречах с Рейганом, о разговорах о ядерном разоружении. Ведь только-только казалось, что мир стал ближе, спокойнее, надёжнее.

Горбачёв застыл, держа трубку в руке, и медленно, почти трагическим голосом произнёс:

– Хуже, дорогая... Хуже, Раиса... Нанесён удар по коммунистической партии, по самой её душе! Украли тело Ленина!

Раиса Горбачёва вздрогнула, прижала руки к лицу и сдавленно вскрикнула. Её губы задрожали, глаза наполнились ужасом – ведь Ленин был не просто символом страны, он был символом власти, легитимности, веры в идею.

– Господи... – прошептала она, – значит, и это рухнуло?..

А Михаил Сергеевич стоял посреди спальни – бледный, в расстёгнутой пижаме, с трубкой, из которой всё ещё доносился встревоженный голос Крючкова. И впервые за всё своё правление он почувствовал, что Советский Союз окончательно утратил не нефть, не армию, не веру – а сердце, из которого начиналась вся эпоха.

Экстренное совещание началось ровно в девять утра. Кремль, словно выдохшийся старик, просыпался тяжело – по коридорам сновали адъютанты, охранники и помощники, несущие кипы бумаг. В большом зале заседаний, где под потолком висела тускло поблескивающая люстра, собрались все, кто хоть как-то имел отношение к расследованию похищения. За овальным столом сидели председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел, несколько генералов, руководители Следственного комитета, а также представители Министерства иностранных дел, Госплана и – по настоянию Горбачёва – Госкомитета по телевидению и радиовещанию.

– Первым делом закрыть всю информацию про похищение Ленина! – резко произнёс Михаил Сергеевич, когда все расселись по местам. Его голос звенел в воздухе, и даже хлопанье кипятника в углу мгновенно стихло.

Среди сидящих кашлянул глава Госкомитета телерадиовещания СССР – человек лет пятидесяти, с аккуратными усами и лицом чиновника, привыкшего произносить шаблонные фразы в микрофон. Он был в дорогом, но немного тесном костюме, пахнул одеколоном «Шипр» и всё время нервно теребил очки, словно надеялся, что сквозь стекло ситуация станет яснее.

– А как же гласность? Перестройка? Ускорение? – осторожно напомнил он. – Народ ведь имеет право знать, товарищ президент...

– К чёрту гласность! – взорвался Горбачёв. – Вы хоть понимаете, что произойдёт, если об этом узнают?! У нас украли символ коммунизма! Вы представляете, какой будет скандал? Над нами не только Рейган смеяться станет – над нами засмеются все! Моджахеды в Афганистане, Пиночет в Чили, Альфредо Стресснер в Парагвае! От нас отвернётся Фидель Кастро! Китайские коммунисты плюнут нам в лицо, Вьетнам повернётся спиной! А страны Варшавского договора – вообще выйдут из нашего блока!

В зале повисла гробовая тишина. Только щёлкнули ручки да где-то позвякнула чайная ложка о блюде.

– Если бы только это, – тихо добавил вице-президент Геннадий Янаев, поправляя очки и глядя в бумаги. – Я бы добавил, Михаил Сергеевич, что внутри страны начнётся паника. Сектанты и диссиденты тут же объявят это «знаком конца эпохи», интеллигенция поднимет шум, что Ленин «восстал и ушёл», а на Западе скажут, что СССР теряет контроль над собственной историей. Мы сами себя добьём.

– Вы нас пугаете, Геннадий Иванович, – глухо заметил кто-то из чиновников, сидевших у окна. – Это прямой путь к развалу Союза! Мы и так еле держимся! А если люди узнают, что даже тело Ленина не смогли сохранить... Это последний гвоздь в гроб коммунизма!

– Надеюсь, до гроба не дойдёт, – мрачно ответил Горбачёв, дёргая галстук. Узел словно душил его, не хватало воздуха.

За окнами огромного зала постепенно оживала Москва. Улицы наполнялись движением – над Кремлём вставал ясный, холодноватый рассвет. Лучи солнца отражались в стеклянных фасадах гостиницы «Россия» и золотых куполах соборов. Осенняя погода выдалась на удивление тихой: лёгкий ветер шевелил кроны деревьев Александровского сада, голуби кружили над башнями.

В небе прочертил свой след самолёт, летевший в Алма-Ату – белая полоса постепенно таяла, будто стирая границы между землёй и небом. Ещё два реверсных следа, перекрестившись, тянулись на запад – один из Берлина, другой из Будапешта. Они напоминали шрамы на теле огромной страны, ещё не осознавшей, что ей предстоит вскоре распасться.

– Что нам известно? – сердито спросил Горбачёв, оглядев сидевших за длинным столом представителей силовых ведомств. В зале повисла тишина – шуршание бумаг прекратилось, даже перо, стучавшее о папку, замерло.

Генеральный прокурор СССР Николай Трубин, человек плотного телосложения, с тяжелым взглядом и квадратной челюстью, откашлялся. Его густые брови сдвинулись, а голос прозвучал сухо, как в судебном заседании:

– Нам известно, товарищ президент, что в похищении принимали участие представители Солнцевской преступной группировки. Их боевики переоделись в форму милиции, угнали две служебные «Волги» из УВД Московской области. Оперативники, включая бойцов ОМОНа, перехватили их на Ленинградском шоссе. Завязалась перестрелка. Все нападавшие были уничтожены.

– А Ленин? – хмуро спросил министр здравоохранения Вячеслав Калинин.

Он был типичным советским бюрократом от медицины – аккуратный, педантичный, с усталым лицом врача, давно забытого о пациентах. Его белый воротничок был безупречно выглажен, но под глазами залегли мешки: видно, не спал всю ночь, готовя оправдания.

– Мумию у них не обнаружили, – развёл руками Трубин. – Машины осмотрели, обыскали, но никаких следов тела или следов перевоза груза №1 нет.

– Вам бы, Вячеслав Иванович, лучше ответить на вопрос о вашей технике, – внезапно сказал министр внутренних дел Борис Пуго, человек резкий, прямолинейный, с лицом воина и взглядом, который пробивал сквозь очки. – Есть свидетели, что из Красной площади выезжала «Скорая помощь». Возможно, на ней вывезли труп Владимира Ильича.

– Мне ничего не докладывали об угоне, – растерянно произнёс Калинин, глядя то на Пуго, то на Горбачёва.

– Это значит, что врачи были в сговоре с бандитами, – холодно заключил Пуго. – Надо искать машину, медперсонал и выяснять, кто оформлял выезд. Если в этой истории замешаны сотрудники кремлёвской лаборатории, это – государственное преступление.

Зал загудел. Заговорили все сразу: кто-то требовал проверить Институт Ленина, кто-то – расставить посты на всех выездах из Москвы. Кто-то даже предложил «проверить связи санитаров с иностранцами».

Горбачёв, встав из-за стола, стал ходить по залу, держа руки за спиной. Лоб его покрылся потом, рубашка прилипла к спине. Он ловил лишь обрывки фраз – они гудели, как рой пчёл в улье:

– ...всесоюзный розыск...

– ...Интерпол подключить...

– ...глумление над трупом...

– ...международный синдикат...

– ...Пабло Эскобар, наркотрафик...

– ...японские якудза могли заказать...

Он остановился у окна, взглянул на серый купол неба, потом резко повернулся:

– Кому нужно тело Ленина? – спросил он, глядя каждому в глаза.

Первым заговорил Янаев – вице-президент, плотный, лысеющий, с голосом, будто бы всегда простуженным:

– Можно предположить, Михаил Сергеевич, что нашим прямым врагам. Например, фашистским или реваншистским организациям в Европе. У них ведь был свой символ – Гитлер. Его сожгли и спрятали. А теперь, возможно, хотят публично сжечь Ленина – чтобы ударить по международному коммунистическому движению, по нашей идее, по вере миллионов людей!

– Или наоборот, нашим сторонникам, – неожиданно произнёс сидевший чуть поодаль член Политбюро, первый секретарь Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он выделялся среди московских чиновников: смуглый, спокойный, с пронизательным взглядом, говорившим о человеке, привыкшем к ответственности. На нём был строгий костюм, но без излишней напыщенности – казахская сдержанность чувствовалась во всём. В Москву он

прибыл для обсуждения поставок продовольствия и топлива в Казахстан: склады были пусты, заводы простаивали, а крестьяне требовали помощи. Но случай занёс его в этот зал, где решалась совсем иная драма.

– То есть? – прищурился Горбачёв.

– Мы утратили статус самой чистой коммунистической страны, – спокойно пояснил Назарбаев. – Наши союзники на Востоке могут посчитать, что мы больше не вправе хранить общие символы революции. Тело Ленина – не только ваше достояние, Михаил Сергеевич, это достояние всех, кто строил социализм. Так что, возможно, это сделали не враги, а друзья. Китайцы, например. Или албанцы – у них культ Ходжи, и они могли захотеть свой мавзолей. Северокорейцы могли вывезти тело, чтобы похоронить его рядом с Ким Ир Сеном. Эфиопы, мозамбикцы, сальвадорцы – кто угодно. Для них Ленин – святыня.

В зале повисла пауза. Кто-то тихо перекрестился – не по уставу, но по-человечески.

Только Горбачёв тяжело опустился в кресло и, прикрыв лицо рукой, прошептал:

– Святыня... а мы не смогли даже святыню уберечь.

Но тут, из-за длинного стола, кто-то неуверенно пробормотал, словно боясь, что его слова прозвучат глупо:

– Это, может... выкуп?

Все обернулись. В кабинете на мгновение стало тихо – слышно было лишь, как трещит старая электропечь в углу.

– Как это – выкуп? – нахмурился Горбачёв.

– Ну... как с Чарли Чаплиным, – послышался ответ. – Помните, лет десять назад? Кто-то выкопал его могилу в Швейцарии и украл останки великого актёра. Потом звонили вдове, требовали деньги. Может, и тут то же самое? За труп Ленина ведь можно запросить миллионы... сотни миллионов долларов.

Эти слова будто разрядили ток в атмосферу. Вдруг все зашевелились, заговорили разом, перебивая друг друга, возбуждённые и ошеломлённые открывшейся возможностью.

– Да, точно! – воскликнул кто-то. – Это выкуп! Или продажа на чёрном рынке!

– Ведь тело такой великой персоны может стоить дороже нефти, ядерного оружия, всех бриллиантов на свете! – вторил другой.

– Если не нам предложат, то частным покупателям! – добавил третий, понизив голос, как будто уже вел переговоры.

– Да, вполне возможно, – поддакнул министр внешней торговли, – олигархам или коллекционерам из-за рубежа...

Горбачёв покраснел, его глаза налились кровью. Он сжал кулаки и грохнул ладонью по столу:

– Какие ещё частные покупатели?!

В зале повисла тишина. И вдруг, спокойно, с легким кавказским акцентом, ответил министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.

Он сидел прямо, сдержанно, слегка опершись на стол, как всегда – дипломат даже в панике. Его седина придавала лицу благородство, а глаза – усталую проницательность. Шеварднадзе был человеком, прошедшим все круги партийного ада и международных переговоров, и уже ничему не удивлялся.

– Арабские шейхи, к примеру, – произнёс он. – Среди них немало коллекционеров экзотики. Для них владеть реликвией – вопрос престижа. Почему бы одному из них не захотеть иметь тело Ленина в своём замке?

Он сделал паузу, глядя на ошарашенных коллег, и добавил почти спокойно, словно читая дипломатическую ноту:

– Ведь есть частные коллекции египетских мумий. В музеях Европы выставлены тела фараонов. А ведь Владимир Ильич – не менее ценен, чем Тутанхамон, Рамзес Третий... или тот же Чарли Чаплин.

Эта фраза повисла в воздухе, как холодный туман.

Кто-то нервно перекрестился. Кто-то вздохнул. А кто-то впервые осознал, что тело Ленина – действительно могло стать товаром на мировом рынке.

Горбачёв только провёл рукой по лбу и тяжело опустился в кресло.

– Прекрасно, товарищи... – глухо сказал он. – Мы дошли до того, что обсуждаем цену на нашего вождя.

Совещание тянулось ещё часа четыре, но никаких окончательных решений выработано не было. Президент поручил органам правопорядка немедленно приступить к розыску – но при этом всё проводить под грифом «Секретно». Доступ в Мавзолей приказали закрыть: объявить, что проводится плановый ремонт, а тело Ленина временно перевезено для профилактической обработки и дополнительной консервации в специально оборудованную лабораторию. Прессу проинструктировали – никаких утечек, никаких репортажей, пока не будет ясности.

– КГБ взять на проработку вопрос о действиях диверсантов, – говорил Михаил Сергеевич, с досадой и бессилием стуча кулаком по столу. – Возможно, какая-то страна или террористическая группа решила завладеть мумией.

– «Сендеро Луминосо», к примеру, – вставил Шеварднадзе.

– Кто? – переспросил кто-то в углу.

– Маоистская организация в Перу. Или «Красная армия» в Колумбии... – предложил министр.

Далее пошёл набор поручений в стиле военного времени:

– МВД – увеличить проверки на выездах из города, поставить блок-посты на основных магистралях, перекрыть все трассы в радиусе ста километров от Москвы; поднять ОМОН и вневедомственную охрану в режим повышенной готовности.

– КГБ – полномасштабная отработка криминальных и зарубежных следов: подключить зарубежные каналы, Интерпол, просмотреть разведданные, проверить трансграничные контакты организованных группировок.

– Минздрав – срочно подготовить резервную лабораторию для обработки и хранения тела, обеспечить наличие всех необходимых реактивов и специалистов.

– Минобороны – держать подразделения в готовности для оперативной доставки и охраны, при необходимости – блокировать аэродромы и морские причалы.

– Железная дорога (МПС) – немедленно проверить все грузовые составы, описи грузов, пассажирские вагоны с нестандартными отсеками; закрыть прием нестандартных грузов без разрешения.

– ГПУ и таможня – проверить все экспортно-импортные накладные и отправки за последние сутки; усилить контроль в портах и на пограничных переходах.

– Госкомитет по телевидению и радиовещанию – подготовить «единый информационный сценарий» на случай официального сообщения и держать эфир в готовности; никаких спонтанных комментариев.

– МИД – связаться с ключевыми партнёрами, предупредить посольства и запросить содействие в случае трансграничной продажи или вывоза.

Когда все расходились, в кабинете остались только Михаил Сергеевич и Владимир Александрович Крючков – глава ещё почти всесильного КГБ. Горбачёв, встав из-за стола, ходил по комнате, весь взмокший от волнения; по лбу у него стекал пот, он тер ладонью пряную, лысеющую голову, а в голосе слышалась дрожь. До него долетали отрывки докладов: «всесоюзный розыск», «Интерпол подключён», «возможен международный синдикат»... Всё это звучало, как шум чужого улья.

– Что ещё? – спросил Крючков, не отрываясь от папки.

– Что делать, если труп не найдём? – прямо спросил он. – Объявим об этом всему миру?

Ведь долго скрывать это не удастся.

Горбачёв на секунду остановился, сжал кулаки и произнёс почти шёпотом:

– Знать бы, кому это нужно...

Крючков задумался, громко выдыхая. Потом поднял глаза:

– Может, это дело рук вашего оппонента? – сделал он холодное предположение.

– Кого? – переспросил Горбачёв.

– Ельцина. Борису Николаевичу нужно вас унижить, уничтожить морально. Выкрасть труп – отличный шахматный ход с неизвестными последствиями. Он хочет независимости России от вас – и падение символа может ускорить распад.

Горбачёв нахмурился, обдумывая.

– Логично, – признал он. – Но нам нужно опередить события.

– Как? – удивлённо спросил Крючков.

– Найдите замену... – тихо сказал президент.

– Кому? Ельцину? – переспросил руководитель КГБ, озадаченно глядя на собеседника.

– Нет, – резко отрезал Горбачёв. – Мумии!

Крючков побледнел, затем растерянно переспросил:

– Чего?

Горбачёв посмотрел ему в глаза и спокойно, но твёрдо произнёс:

– Найдите труп, похожий на Ленина. Забальзамируйте. Мы выставим его как оригинал.

Пока не найдём настоящего Ленина – фальшивый будет лежать в Мавзолее. Никто не имеет доступа к оригиналу – нечем будет доказать подмену.

Крючков на мгновение замер, затем, будто осознав замысел, откинулся на спинку кресла и с тёплым восхищением произнёс:

– А вы гений, Михаил Сергеевич.

Горбачёв едва заметно улыбнулся – слабая, человеческая улыбка, почти скромная. В этот момент в его лице было и облегчение, и тень унижения: решение – дерзкое и рискованное – давало время, но говорило и о том, насколько шатко всё держится.

Глава шестая. Купля-продажа

Машина репрессий и государственного контроля в Советском Союзе к лету 1991 года уже напоминала не грозный, отлаженный механизм сталинской эпохи, а старую, гулко дребезжащую махину – ржавую, неуклюжую, работающую через раз. Всё буксовало, всё шло с перекосями и запозданием. Бумаги неделями лежали в канцеляриях, не доходя до адресатов. Приказы терялись в лабиринтах бюрократических столов, обрастая визами и штампами, словно мхом.

Во многих республиках, особенно в Прибалтике, в Грузии и Армении, распоряжения из Москвы уже не воспринимали всерьёз. Там говорили откровенно: «Пусть в Кремле сами разбираются со своими мумиями». Местные партийные комитеты больше заботились о собственном будущем, чем о судьбе союзного центра. А в других регионах, на юге и в Средней Азии, бюрократы давно превратили государственную службу в личный бизнес: кому-то нужнее было выбить для кооператива лимит на бензин, кому-то – проверить сделку с импортом сигарет или «видеомагнитофонов из Турции».

Бумаги из Москвы открывали нехотя. «Секретно», «срочно», «по поручению президента СССР» – эти штампы уже не вызывали трепета. В отделах КГБ и МВД республиканских управлений стояли запylённые сейфы, а шифровки нередко использовали, чтобы разжечь самовар. Поэтому распоряжение о поиске похищенного тела Ленина по пути от Кремля до Ташкента буквально растворилось в бумажной волоките, теряясь между кабинетами, не доходя до исполнителей.

В Узбекистане и Таджикистане сообщения из Москвы попросту проигнорировали. В Ташкенте, где к тому времени уже царил дух восточного базара, на «секретные указания» смотрели как на очередную прихоть северян, которым, как шутили местные, «всё время скучно и холодно, вот и выдумывают себе дела».

Поезд из Москвы прибыл в Ташкент через трое суток. Северный вокзал в 1991 году выглядел типично по-советски, но с азиатским колоритом: огромное здание в стиле позднего модернизма с узорчатыми решётками на окнах, выцветшими плакатами, на которых красовались надписи «СССР – единая семья народов!» и «Слава труду!». Под навесом стояли старые вагоны с облезшей краской, пахло горячим железом, пылью и бензином.

Над перроном, дрожа от жары, колыхался воздух. По громкоговорителю сиплый женский голос объявлял прибытие состава из Москвы, но динамики скрипели, обрывая слова. На площади перед вокзалом царил привычный восточный хаос: лоточники продавали дыни, лепёшки, табак, дешёвые часы «Слава» и японские калькуляторы. Таксисты в «Жигулях» спорили о цене с приезжими, а мальчишки с блестящими от пота лицами предлагали пассажирам обмен валюты.

Вокзал гудел, как огромный улей. В воздухе смешались запахи самсы, машинного масла и горячего асфальта. Из подворотен тянуло сладковатым ароматом дынь и дымом от мангалов. А где-то на дальнем пути, у грузовых вагонов, в тени стояли двое – Гиви и Мускул. Их вагон прибыл без досмотра, и даже милиционеры на платформе не обратили внимания на странный цинковый ящик, заколоченный гвоздями и помеченный как «медицинское оборудование».

Ташкент жил своей размеренной, базарной жизнью, не подозревая, что именно сюда, под гул поездов и треск стрекоз, прибыла одна из самых опасных и странных тайн XX века.

Жара обрушилась на них, как стена. Воздух дрожал, будто раскалённое стекло, излучая сухое, душлимое тепло. Асфальт под ногами мягко поддавался, словно резиновый, от перегрева. В ноздри бил густой запах пыли, дыма и горячего железа. Казалось, сам город дышит жаром – от крыш, от стен, от моторов старых автобусов и от редких деревьев, на которых листья висели безжизненно, как тряпки.

Гиви, привыкший к таким температурам с детства, улыбался, шурясь от солнца и прикрывая лоб ладонью. А вот Мускул страдал. Пот струился по его лицу, заливал глаза, ручьями стекал по шее и спине, пропитывая рубашку насквозь.

– Чёрт, как пекло, – выдохнул он, вытирая платком лицо, потом отжал его прямо на асфальт, где вода мгновенно зашипела и испарилась.

– Привыкай, Мускул! – весело хохотнул Гиви. – Мы в Средней Азии, а здесь солнце как начальник – всегда сверху и всегда недоволен!

Он оглядывался, ожидая знакомый силуэт. Тем временем вагоновожатый, смуглый мужчина в потёртой форменной рубашке, стоял рядом с тележкой, на которой покоился цинковый гроб. Металл блестел тускло, словно с оловянным оттенком, а от крышки тянуло холодком – внутри лежали пакеты со льдом.

– Плевать я хотел на этот регион, – буркнул Мускул, мрачно косясь по сторонам.

Ему не нравилось здесь ничего. Ни пёстрые халаты, ни яркие тюбетейки, ни суета толпы, говорящей на непонятной мешанине узбекского и русского. Он чувствовал себя чужаком. Даже архитектура раздражала: низкие глиняные дома, арки, резные балконы, купола мечетей, острые минареты. Всё это вызывало в нём недоверие и презрение.

Мускул вообще не терпел инородцев. Считал, что «русская земля» должна быть одна на всех – без этих «южных выкрутасов». Интернационализм он называл «сказкой для идиотов», а лозунги про дружбу народов – «шуткой для бедных». И вообще к КПСС относился с презрением, а парткомы всякого рода считал сборищем маразматиков.

И вдруг рядом с ними загудел двигатель. На площадь въехал «ПАЗ» – жёлтый, облупленный, с чёрной надписью «Морг. Городское бюро судмедэкспертизы». Двигатель громычал, выдыхая сизый дым, и, скрипнув тормозами, автобус остановился.

Двери открылись, и из салона спустился мужчина лет пятидесяти в лёгком парусиновом костюме цвета песка. Лицо смуглое, с короткой проседью, на переносице – очки с затемнёнными стёклами. Он двигался неторопливо, с уверенностью человека, знающего, что весь мир ему знаком.

– Салям, йигитлар! – сказал он, расплываясь в широкой улыбке и разведя руки.

– Привет, Мурзик! – крикнул Гиви, и, распахнув объятия, подскочил к нему. Они крепко обнялись.

Они были старыми знакомыми – ещё со школы. Когда-то вместе бегали по школьному двору, драли коленки и курили за спортзалом. Потом дороги разошлись. Вячеслав Муркелович Мурзилкин ушёл в науку – окончил медицинский, стал патологоанатомом, работал в морге. Его жизнь проходила среди холодных столов, скальпелей и банок с формалином. Он резал тела – во имя науки и суда. А Гиви Вахтангович Меладзе резал людей по другим причинам: за долги, за бизнес, за честь «бригады». В каком-то странном смысле оба занимались одним делом – только один изучал смерть, а другой приносил её.

Мускул, стоявший чуть поодаль, с холодной вежливостью пожал руку Мурзилкину. Сразу видно было – не сошлись характерами. Он не любил интеллигентов, особенно тех, кто говорил с иронией. А Вячеслав Муркелович даже не обратил на него внимания – его взгляд был прикован к цинковому гробу.

– Привёз? – тихо спросил он, в голосе слышалось волнение.

– Вах, обижаешь, Мурзик, конечно! – Гиви развёл руками, улыбаясь. Он привык называть одноклассника его школьным погонялом.

По его кивку вагоновожатый подкатил тележку ближе. Прохожие замедляли шаг, с уважением глядя на груз. Несколько мужчин сняли тюбетейки, шепча молитвы. Один старик, в галошах и полосатой рубашке, прошептал:

– Аллах велик, да примет душу усопшего в свой рай... – и, перекрестившись по-своему, пошёл дальше, придерживая корзины с инжиром. От фруктов тянуло сладким ароматом, смешанным с запахом пыли и бензина.

Толпа расступилась. И лишь трое знали, что в этом гробу лежит не рядовой покойник – а человек, из-за которого сейчас дрожит вся партийная знать Москвы и сходит с ума руководство Советский Союз.

Дрожа от волнения, Мурзилкин подошёл к цинковому гробу и стал гладить его крышку, как ребёнка. Из глаз у него покатались слёзы – редкое, почти детское выражение веры и трепета. Мускул удивлённо посмотрел на патологоанатома: мол, что за слёзы? Ведь ты каждый день режешь трупы и ничего, а тут – сопли распустил? Он не понимал, что в душе Вячеслава это не просто сентиментальность: перед этим человеком – архитектурой нового государства, «отцом» другой эпохи – склонялись миллионы. Для грубого люмпена, каким было большинство бандитов, это было святостью чужой, незнакомой и потому подозрительной.

Гиви знал о политических предпочтениях одноклассника и потому молчал. Ему было глубоко наплевать – кто у власти: коммунисты или кто-то хуже. Главное – чтобы им не мешали воровать. Коммунисты, кстати, крали иначе: прямо из госбюджета, по крупному и с прикрытием; мафии же приходилось «цедить» добро по чайной ложечке. Поэтому богатства у партийных структур часто были куда удобнее, чем у уличных бригад.

Мурзилкин протёр глаза платком и свистнул. Из дверей «ПАЗа» показался Останакул – худой, энергичный, с пучками волос и большими усами. Он бросил быстрый взгляд на двух московских бандитов и кивнул в знак приветствия. Те почти не реагировали, смотрели только на Мурзилкина.

– Что, Вячеслав Муркелович? – спросил нейрофизик. Он же был и водителем «ПАЗа», потому что Мурзилкин не хотел, чтобы кто-нибудь из гаража знали о перевозке неизвестного трупа. Секретность была священна.

– Заноси гроб в машину, – тихо приказал доктор. Мирзаев кивнул и побежал к задней двери автобуса. Вместе с вагоновожатым они затолкали гроб в салон – грубо, неделикатно, как мешок картошки; металл скрипел, ремни хлестали об обшивку.

– Эй! – не выдержал Мурзилкин, зло сверкнув глазами. – Забыл, кто в гробу?

– Извините, шеф! – пискнул Останакул, покраснев. Он оплатил услуги вагоновожатого, который взял пачку рублей и поблагодарил по-таджикски, после чего удалился в сторону здания вокзала.

Гиви терпеливо ждал, оперевшись о корпус "ПАЗа". Мурзилкин не торопился – он хотел убедиться лично. Медленно поднявшись в салон, он подошёл к гробу. За ним в автобус вошли Гиви и Мускул; последний сдержанно морщился от запаха химии и холода металла, носом воротил от резкости аромата консервантов.

По приказу патологоанатома Останакул включил специальный механизм и осторожно приподнял цинковую крышку. В нос ударил резкий запах – смесь химических веществ, используемых для бальзамирования и консервации: эфирные растворители, лёгкие альдегиды и фенолы, раствор формалина и пропиленгликоль, запах аптечного спирта и сухих консервантов, которые держали ткань тёмной и эластичной, но отдавали металлической холод и горчинку.

И едва Мурзилкин увидел лицо – знакомое каждому в Союзе – он не выдержал. Он упал на колени и, бившись лбом о металлический пол салона, тихо шептал:

– О слава тебе, великий Ленин! Наш вождь! Наш отец! Наш творец большого государства!

Произносил он это, будто читая молитву; из его уст вышли только первые слова заветной мольбы – «Отче наш...» – и дальше шёпот превратился в поток благоговейных признаний.

Останакул, не сдерживая эмоций, тоже опустился рядом. Он вынул из сумки изъеденную временем книгу – «Государство и революция» – и, как человек молящийся, открыл её, не

перечитывая, а ища ту строку, что всегда согревала душу. Вместо дословной цитаты он начал медленно повторять с памятью и верой то, что для него было сутью: о том, что государство есть продукт классовой борьбы, о том, что машина власти рождается для того, чтобы подавлять один класс другим; о неизбежности революции как разрушительного, затем созидательного процесса; о том, что старый порядок должен быть сломан, чтобы родилось новое общество.

Он не читал страницу слово в слово – Мирзаев не нуждался в точных цитатах; для него это были не просто слова, а свиток веры, напоминание о миссии, которую они, возможно, сейчас выполняют не только как учёные и ремесленники, но и как священники новой веры.

Мускул смотрел на всё это с глубоким презрением. Для него была важна только жизнь блатных – понятия, честь вора, свой «общак» как сейф и расчёт. Он говорил на феню в мыслях и мысленно переводил каждый жест в выгодную сделку: лягавый – враг, донос – предательство, братва – банк. А такие, как Мурзилкин и Останакул, – просто лохи, размякшие интеллигенты, которых можно было бы «развести» на пару сотен баксов, не моргнув. Он не видел в них угрозы; он видел возможность.

Гиви тихо кашлянул – это был сигнал. Мурзилкин встrepенулcя, отряхнул пальто, протер затылок платком, и Останакул аккуратно запаял крышку гроба.

Вячеслав Муркелович вынул из переднего сиденья «ПАЗа» чёрный портфель «дипломат» – модный тогда атрибут интеллигента и человека, который любит выглядеть серьёзно. Кожаный, с бронзовыми замками, он был тяжёлым: внутри – документы, записи, и то, что сейчас интересовало всех.

– Три миллиона, – коротко сказал Мурзилкин. Его голос был сдержан, ровен – как у человека, который умеет торговаться без крика и суеты.

Гиви, не теряя ни секунды, взял «дипломат» и улыбнулся.

– Проверять будешь? – спросил Мурзилкин.

– Я тебе, Мурзик, доверяю, – ответил Гиви, – но братва, которой ты лично не представлен, не доверяет. Извини.

Он положил портфель на сиденье и открыл. Там лежали пачки долларов – аккуратно связанные, пахнувшие очередями и дальними рейсами. У Мускула глаза расширились: он никогда в жизни не видел столько иностранной валюты. Для него, сына эпохи, где ценность мерилась в пачке купонов и килограмме сахара, эти зеленые деньги выглядели чужой магией. Гиви провёл пальцем по пачкам, и на губах его растянулась улыбка, похожая на Cheshire-кошку: довольная, хитрая и немного звериная.

– Точно, не обманул, – проворчал он, быстро пересчитав.

Его слова вызвали у Мурзилкина лёгкий, почти презрительный смешок:

– Гиви, я никогда не обманывал...

– Да-да, – кивнул тот. – Торг завершён. Вам – товар, нам – бабло.

– Что планируете? – сухо спросил Вячеслав.

– Хотим заглянуть к Бахе Ташкентскому, передать приветы от Солнцевских, да и заодно напомнить Армену Сицилиано про старый долг, – ответил Гиви. – В любой республике у нас свои люди: кто-то держит рынок, кто-то – грузовой поток, кто-то – крышует перевозки. СССР – это не только союз рабочих и интеллигенции, это ещё и большая сеть криминальных связей. У кого власть – у кого деньги; у нас – свои понятия и свои границы.

Останакул оторопел: имена ничего ему не говорили. Но Вячеслав Муркелович тихо кивнул, как бы подтверждая:

– Бахо Ташкентский – местный авторитет. Ему я уже пришивал ногу, которую взял с одного трупа: потерял гильзу в автокатастрофе, ходил на одной ножке. Мы пришили протез лучше, чем было. Баха расплатился тем, что у тебя в чемодане...

– А Армен? – спросил Останакул, не очень понимая тонкости языка «блатного». – Он кто?

– Армен Сицилиано – вор в законе, – пояснил Гиви. – Просил «подлатать» репутацию – знаешь, чтоб выглядел круче. Просил и «то, и то» – чтоб демонстративно показать силу. Это всё олдскуль: обмен услугой за долг.

Мускул фыркнул, но не вмешивался – его интересовала валюта и выгода. Он уже мысленно делил «общак» и прикидывал, сколько пар обуви, сколько пачек сигарет и бутылок водки можно вытащить из этой сделки.

Так, в раскалённом воздухе ташкентской площади, среди базарного гвалта и запаха самсы, свершалась ещё одна тихая покупка-продажа: товар – историческая реликвия; цена – зелёные банкноты; посредники – бандиты; благородство – в руках патологоанатома, который видел в этом не только бизнес, но и миссию.

– Тебя подвезти? – спросил Вячеслав Муркелович, глядя на Гиви поверх очков. Голос его звучал устало, но с оттенком облегчения: сделка состоялась, и теперь он хотел как можно быстрее скрыться из виду с «бесценным грузом».

Гиви усмехнулся, чуть приподняв уголок губ:

– На таком драндулете, Вячеслав, только возить то, что у тебя в этом гробу, – он ткнул пальцем в цинковый ящик, где покоился Ленин. – А мы на такси, прямо в «Узбечку».

«Узбечка» – легендарная ташкентская гостиница «Узбекистан», громадина из стекла и бетона, с узорчатым фасадом, что сиял под солнцем, будто ковёр из мозаики. В холле стоял тяжёлый запах жареного масла, одеколона «Шипр» и дешёвого импортного виски. Здесь смешивались валютные менялы, сутенёры, проститутки, цеховики, бывшие цеховики, уже ставшие мафиози. В баре – постоянный обмен шепотов и наличности, в коридорах – звон бокалов, а в номерах – «деловые переговоры» между представителями разных кланов. Это был своеобразный криминальный Вавилон на фоне рушащейся империи.

– Хорошего отдыха! – сказал Мурзилкин, махнув рукой.

Гиви, держа «дипломат», шагнул на улицу. Жар ударил в лицо, словно из печи. Мускул выругался, обтирая лоб:

– Ох, твою же тётю...

Гиви хмыкнул, глядя, как бурлит привокзальная площадь: торговцы кричали, зазывая прохожих к лоткам с арбузами и дынями; таксисты спорили, кому ехать первым; запах лепёшек и солёнки смешивался в плотный, горячий воздух.

– Спокойно, Мускул, – сказал он. – Сейчас поедem в гостиницу, снимем номер с кондиционером. Отоспимся. В ресторане посидим. Вечером – встреча с нашими. Пора решать, кто тут главный.

– А эти? – Мускул кивнул на автобус.

– А с ними мы в расчёте, – отмахнулся Гиви. – У них теперь свои дела.

– Коротко вы с одноклассниками, – буркнул Мускул, хмурясь.

– Бывало и короче, – прошипел грузин и поднял руку, останавливая «Жигули»-такси.

Они уселись на заднее сиденье. Водитель в кепке и с золотым зубом включил радио. Из динамика зазвучала восточная мелодия – пела Насиба Абдуллаева, её нежный голос лился сквозь шум улиц:

«Сен кетдинг, қалбим ёлғиз қолди,
Йўллар узок, кўзлар ёшли бўлди...
Севги қолди, фасллар кетди,
Йўлларимда умид этдим мен сени...»

(Ты ушёл, и сердце осталось одно,
Дороги длинны, глаза полны слёз...
Любовь осталась, а времена ушли,
На своих путях я жду тебя...)

Такси тронулось, растворяясь в мареве ташкентских улиц.

А тем временем Останакул сел за руль «ПАЗа», повернул ключ. Двигатель загрохотал, выплюнув в воздух чёрный дым угарного газа. Автобус дёрнулся и медленно покатился, оставляя за собой сизый след.

В салоне, возле цинкового гроба, сидел Вячеслав Муркелович. Он провёл ладонью по крышке – мягко, почти нежно, как по щеке спящего ребёнка. Закрыв глаза, он мысленно перенёсся в другую эпоху: в весну 1917-го, когда с броневика на Финляндском вокзале стоял Ленин – с поднятой рукой, с глазами, горящими идеей, которая тогда казалась вечной. Толпа ревела, ликуя, слыша слова: «Вся власть Советам!» – и никто тогда не знал, какой кровью будет заплачено за эти слова.

Теперь, спустя семь десятилетий, в душливом автобусе Ташкента, над телом вождя стояла тишина.

Только мотор урчал, как старый пес, а солнце палило в окна, будто само не верило, что такое возможно – чтобы Ленин покидал Москву тайком.

Глава седьмая. Коррупционер в халате

«ПАЗ» прибыл в больницу № 6 спустя сорок минут, подпрыгивая на кочках старого асфальта и оставляя за собой сизую струю дыма.

Здание больницы, выстроенное ещё в хрущёвские времена, стояло в стороне от оживлённой улицы, окружённое запylёнными акациями и полусухими клумбами. От жары стены облупились, краска поблекла, а в окнах морга виднелись чёрные пятна – тени прожитых смертей.

Останакул первым спрыгнул на землю и подогнал автобус к заднему входу, где находился морг. Вместе с Мурзилкиным они осторожно, но с усилием, выгрузили цинковый гроб. Металл был горячим от солнца, и казалось, что сам воздух дрожит вокруг этого странного предмета, как вокруг священного артефакта. Втащив гроб внутрь, где пахло формалином, спиртом и старым мясом, они установили его на металлический стол.

После этого нейрофизик сел за руль и вернул автобус в гараж. Там его уже ждал завгар – Хуршид Миркасымов, мужчина лет пятидесяти, с потемневшим от солярки лицом и вечно замасленной спецовкой. Его голова была обмотана платком, а изо рта сверкали золотые зубы – по местным меркам, признак благополучия.

Он лениво поднял глаза от газеты, когда увидел автобус и спускающегося с кресла водителя Мирзаева. Он знал, что нейрофизик оформлен в больнице как техник морга, и поэтому имел доступ ко всем отделам, отделениям и помещениям больницы.

– О, рахмат, дустим! – сказал он, растягивая слова. – Хороший у нас бизнес: тебе – автобус, мне – деньги!

Останакул сунул ему купюру в ладонь – хрустнувшую, иностранную. Завгар, быстро спрятав её за пазуху, понимающе усмехнулся. Он давно знал, что в морге происходят «странные дела» – кто-то из больных вдруг пропадает, какие-то тела не доезжают до кладбища, но платили исправно, и значит, вопросов задавать не стоило.

– Всё верно, Хуршид-ака, всё верно, – ответил Останакул и, кивнув, поспешил обратно.

Завгар, хотевший немного поболтать, пожал плечами и вернулся в бокс. Там, в полумраке, стояли «скорые помощи» с облезшими крестами, старые «ПАЗы», пахнущие бензином и смертью. Масло сочилось из поддонов, где-то тикали капли, и всё пространство гаража казалось живым существом – усталым, но верным своему ремеслу.

Когда Мирзаев вошёл в морг, там уже царила кипучая суэта. Мурзилкин, закатав рукава белого халата, метался между столами, как дирижёр перед оркестром. На металлических подносах лежали скальпели, зажимы, щипцы, шприцы с густыми растворами, а на стене – старый вентилятор, беспомощно гонявший горячий воздух.

На столе, в центре комнаты, стоял открытый гроб с телом Ленина. Патологоанатом буквально дрожал от нетерпения – вот оно, начало новой эпохи. Он собирался не просто «сохранить», а воскресить вождя.

Останакул, глядя на всё это, переминался с ноги на ногу.

– Вячеслав Муркелович... – начал он неуверенно. – У меня сомнение одно есть.

– Какое ещё сомнение, Останакул? – раздражённо бросил Мурзилкин, проверяя шланги аппарата для циркуляции консервирующей жидкости.

– Но ведь у Ленина нет... мозга.

Патологоанатом застыл, медленно поднял голову.

– Что?

– Ну как же, – объяснил нейрофизик. – Врачи же в двадцать четвёртом вскрывали череп и извлекали мозг. Передали в лабораторию под руководством профессора Бехтерева. Помните, в Москве создали целый институт, чтобы изучить, почему Ленин был гением. Мозг нарезали

на тысячи тонких пластинок, поместили в формалин, потом в парафин. Каждый фрагмент сфотографировали, измеряли, сравнивали с другими мозгами. Так и хранился – по сей день – в Институте мозга, под стеклом, как реликвия.

Мурзилкин нахмурился.

– Ну да, это я знаю.

– Так вот, – продолжил Останакул, – бальзамирование ведь проводилось уже без мозга... и не только без него. Когда вскрыли тело, удалили внутренние органы – лёгкие, печень, желудок, кишечник, даже сердце. Всё заменили растворами формалина и глицерина, чтобы тело не разлагалось. Внутри – одна пустота, наполненная химией.

– И что с того? – раздражённо бросил Мурзилкин.

– А то, – робко сказал нейрофизик, – чем он будет думать, если мы его оживим?

Он понизил голос, почти шёпотом добавив:

– И... чем будет переваривать пищу?

Патологоанатом засмеялся – но как-то странно, натужно, словно пытался убедить самого себя, что всё происходящее имеет смысл. Смех прозвучал фальшиво, будто заскрипел старый дверной петля, и, поняв это, Вячеслав Муркелович тут же осёкся, кашлянул и сменил тон:

– Посмотри, мой друг, – сказал он, ткнув костлявым пальцем в сторону холодильных камер. – Видишь? Здесь десяток трупов. У них и кишечник есть, и лёгкие, и сердце, и селезёнка. Вот мы и изыдем всё нужное и пересадим в тело Ленина.

Он говорил спокойно, деловито, словно обсуждал план ремонта.

– Но... мозги-то всё равно не его! – вскрикнул Мирзаев, всплеснув руками. – Нет таких гениальных мозгов ни у кого в Союзе! Ленинский мозг был только... у Ленина!

Мурзилкин, прищурившись, посмотрел на него с лёгкой жалостью.

– Ты прав, нет второго Ленина и не будет, – сказал он торжественно. – Сталин, Троцкий, Бухарин, Брежнев, Андропов, и этот... дурачок Горбачёв – все они жалкие подделки. У них нет того ума, что был у Владимира Ильича. Но! – тут он театрально поднял палец. – У нас есть мозги трупа. А мы знаем, что при смерти мозг аннулирует всю запись – как магнитофонная лента, которую стёрли. Всё, что человек нажил, прочувствовал, знал – исчезает. Значит, если вставить в череп Ленина новый мозг, мы получим чистый носитель!

Останакул почесал затылок, ощупывая голову, словно хотел убедиться, что его собственный мозг ещё на месте – а не в списке запасных органов, намеченных к пересадке. Он нервно усмехнулся, но глаза его бегали.

– И всё же... – промямлил он, – зачем Ленину пустой мозг? Чем он будет думать? Что скажет? Ведь у него не будет памяти, ни знаний, ни идей...

– Пустой мозг – это как бобина для магнитофона, – усмехнулся Вячеслав Муркелович, довольный метафорой. – Мы запишем в него всё, что нужно! Все труды Владимира Ильича, все его речи, письма, статьи. Тогда он вспомнит самого себя!

– Как? – изумился нейрофизик.

Патологоанатом резко дернулся, покраснел и возопил:

– Ты что, тупой, Остапакул?! Ты же нейрофизик! Всё просто! Наденем на голову Ленина наушники – и я, в ускоренном режиме, пропущу через них весь текст полного собрания сочинений Ленина! Эти тома я взял в библиотеке партшколы. Этот текст читали мы: я, моя соседка Клава, ее дочь Ирина, мой племянник Геннадий, партком больницы Сиражитдин-ака! Ленин услышит сам себя, всю свою жизнь, всю свою идеологию! И тогда сознание вернётся. Мой магнитофон специально для этого и куплен – меняй только бобины!

Он указал на громоздкий аппарат, стоявший в углу – массивный Telefunken Magnetophon 204TS, с хромированными катушками, блестящими кнопками и стеклянным окошком индикатора. Металлический корпус отражал тусклый свет ламп, а на крышке красовалась надпись

Made in West Germany. Устройство выглядело внушительно и абсурдно одновременно – как будто часть чужого, западного мира случайно затесалась в советский морг.

Конечно, достать такой аппарат можно было только в «Берёзке» – спецмагазине, куда простых советских людей не пускали. Расплачивались там не рублями, а чеками Внешпосылторга, или, проще говоря, валютой. Там продавались всё, о чём мечтала страна дефицита: импортные джинсы «Levi's», кофеварки «Philips», плееры «Sony», шоколад «Toblerone», сигареты «Kent», виски «Johnnie Walker» и духи «Chanel».

«Берёзка» была храмом потребительского рая на фоне серой советской нищеты. Ради её чеков люди шли на обман, воровство, спекуляции, женились фиктивно на интуристках, участвовали в мутных схемах. Каждый хотел кусочек Запада – пусть даже через подлог.

Мурзилкин, конечно, презирал капитализм. Он мог часами читать лекции о его гниении и кризисе. Но, как ни странно, его собственная вера в науку требовала именно капиталистической техники. И, глядя на «Telefunken», он чувствовал странное удовлетворение:

– Пусть Ленин воскреснет через западную аппаратуру, – шептал он с усмешкой. – Это будет лучший удар по буржуазии: их техника – на службу революции!

Он подошёл к магнитофону, любовно провёл пальцем по панели, включил тумблер – и в комнате щёлкнули лампы.

Катушки медленно закрутились, из динамика послышалось лёгкое шипение, будто оживала сама история.

Из динамика Telefunken Magnetophon 204TS послышался лёгкий треск, будто кто-то шуршал бумагой, потом – тихое дыхание. И вдруг заговорил молодой, неуверенный голос. По тембру было ясно: читал подросток. Это был племянник Мурзилкина – Геннадий, которого патологоанатом привлекал для озвучки некоторых своих «экспериментов».

Голос с легкой картавостью произнёс: «Мы стоим за уменьшение числа правительственных учреждений, за упрощение аппарата, за то, чтобы он стал проще, доступнее для народа, ближе к нему. Лучше меньше, да лучше! Лучше сто раз осмотреться, но двинуться вперёд по-настоящему, чем бездумно нестись и топтаться на месте. Нам нужны люди, которые будут работать не ради карьеры, а ради дела – ради великого дела строительства социализма».

– "Лучше меньше да лучше", один из гениальных работ Владимира Ульянова, – с благовоением произнёс Мирзаев.

После этих слов магнитофон тихо щёлкнул, и Вячеслав Муркелович, прищурившись, перевёл аппарат в ускоренный режим. Катушки завертелись быстрее, стрелка индикатора зашкаливала.

Из динамика вырвался поток нечленораздельного звука – бешеное бормотание, свист, треск, шелест, как будто тысячи голосов говорили одновременно. Речь слилась в один сплошной гул, похожий на жужжание огромного улья. Вибрации шли по стенам, от них дрожали металлические инструменты на столе, а лампы над моргом подрагивали, будто и они слушали эту ленинскую литанию.

– А... труп поймёт? – с сомнением спросил Останакул, перекрикивая гул.

– Мозг запишет всю информацию, – с манией в глазах выкрикнул Мурзилкин, – а потом сознание её расшифрует! Понимаешь? Это же как магнитофонная лента – вначале запись, потом воспроизведение!

Нейрофизик на мгновение задумался, потом облегчённо вздохнул и кивнул:

– Тогда я согласен!

Патологоанатом торжественно вытянулся и сказал:

– Для начала споём гимн Советского Союза.

Он нажал на круглую серебристую кнопку, и из динамиков раздались первые аккорды – медные, могучие, словно сама история вставала по стойке смирно.

Оркестр гремел, хор звучал торжественно:

«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь...»

Мурзилкин и Мирзаев встали рядом с гробом. Их лица осветились фанатическим рвением. Пели они громко, с гордостью, вкладывая в каждое слово не просто патриотизм, а священный восторг – как будто гимн был не песней, а заклинанием.

Холодные белые стены морга дрожали от их голосов. В глазах Мурзилкина горел фанатичный блеск, он даже положил ладонь на крышку цинкового гроба, словно передавал через металл священные вибрации гимна великому вождю.

Останакул же пел с натугой, сбиваясь на акцент, но старательно – он понимал, что сейчас совершается что-то грандиозное. Когда дошли до слов «Да здравствует созданный волей народов единый, могучий Советский Союз!», оба почти кричали – и звук этот слился с гулом магнитофона, с шумом ускоренного воспроизведения ленинских трудов.

Морг наполнился звуками, будто сама история, химия, и электричество собрались, чтобы вдохнуть жизнь в тело из цинка.

– Что здесь творится?! – прогремел чей-то голос, словно раскат грома под бетонным потолком.

Музыка, гимн, гул катушек – всё оборвалось мгновенно. Патологоанатом с помощником замерли, будто их ударило током. Из дверей морга, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, спустился главный врач – Рустам Андреевич Абузалов, человек внушительных форм и ещё более внушительного самомнения.

Ему было шестьдесят два года, но выглядел он постарше: плотный, пузатый, с короткими, как у детины, ногами, бритым затылком и красноватой, потной физиономией. На лысине – три пряди волос, зачесанные крест-накрест, как мосты через болото, – тщетная попытка спрятать безвозвратное бегство молодости. Глаза маленькие, круглые, водянистые, но хитрые, с той особой примесью чиновничьей подозрительности. Говорил он громко, с сипом, всегда с пафосом, как будто вещал перед съездом партии, а не перед двумя застывшими сотрудниками.

Абузалов никогда не оперировал и к настоящей медицине имел такое же отношение, как сантехник к оперному искусству. По образованию – терапевт, по сути – карьерист. Его «пациенты» чаще всего оставались дома, пока он выслушивал их жалобы и выписывал стандартные таблетки – не для лечения, а для отчёта. Но зато родственники в Совмине и Верховном Совете Узбекской ССР сделали из него «главного». С тех пор он окончательно переродился в типичного советского врача-бюрократа: ловко продающего лекарства «через знакомых», отпускающего оборудование налево, выписывающего больничные за бутылку, и регулярно берущего «подарки» от благодарных пациентов.

На эти «заработки» Рустам Андреевич успел обзавестись тремя квартирами в кооперативах, двумя дачами, «Волгой» цвета шампань и любовницей-медсестрой, которую держал в одной из квартир под видом «дальней родственницы».

И вот сейчас этот символ эпохи – плешивый, потный и самодовольный – ворвался в морг, полный праведного гнева, с лицом, перекошенным от собственной значимости.

– Что здесь происходит?! – завизжал он, и от его слюны воздух перед ним замутился.

Останакул, мгновенно побледнев, втянул голову в плечи, словно черепаха под угрозой удара. Мурзилкин, нахмурившись, с досадой выключил магнитофон.

– Исполнение гимна, – сухо бросил он.

– Что?! – глаза главврача полезли из орбит. – В морге?! Исполнение гимна?! Это что, собрание партактива среди трупов? Это кошунство! Безумие! Да я... да я на вас в КГБ напишу! И в ЦК Компартии! – визжал он, подпрыгивая от возмущения, как перегретый чайник. – Самому Исламу Абдуганиевичу доложу!

При имени Каримова у Останакула дрогнули руки, а у Мурзилкина – заиграли уголки губ. Эта усмешка не укрылась от глаз Рустама Андреевича.

– Смейтесь?! – взвился он, заходя всё ближе. – Вы ещё смеётесь в таком месте, где людей провожают в последний путь?!

– Мы здесь препарируем трупы, а не отпеваем, – хмуро ответил Вячеслав Муркелович. – В последний путь готовят в мечетях и церквях. Не путайте наши профессии.

Абузалов побагровел, будто ему в вену влили кипяток. Он судорожно задышал, глаза налились кровью. Хотел что-то выкрикнуть – грозное, властное, обидное, – но взгляд его вдруг споткнулся о цинковый гроб, стоявший под простынёй.

– Это что ещё такое? – спросил он уже не визгом, а сиплым, настороженным голосом.

– Гроб, – коротко ответил Мурзилкин.

– Вижу, что гроб! – захрипел Абузалов, подходя ближе. – Что он делает в моём морге?! Он резко схватил край простыни и отдернул её.

Тишина опустилась мгновенно. Воздух стал плотным, как перед грозой.

Главврач уставился на лицо мумии – и побледнел до синевы. Его губы задрожали, глаза выпучились, пот залил лоб.

– Это же... это же... это же... – начал он, но язык вдруг словно связался в морской узел. Рот открылся, но звуки больше не выходили. Только сип, треск, и странный хрип – будто кто-то в нём самом нажал кнопку «пауза».

Он стоял, дрожа, глядя на знакомый до боли профиль, на лоб с характерным заломом, на бородку...

Перед ним, на столе морга, лежал Владимир Ильич Ленин.

И этот факт был настолько ошеломляюще очевидным, что отрицать его не имело смысла. Рустам Андреевич Абузалов стоял перед гробом, трясаясь всем телом, будто у него внутри завелся генератор ужаса. Он видел это лицо, это выражение, этот холодный, чуть приподнятый подбородок.

Он видел тело Ленина когда-то раньше – весной 1983 года, во время служебной поездки в Москву. Тогда, будучи ещё заведующим терапевтическим отделением, он входил в состав делегации врачей, прибывших на Всесоюзный конгресс. После официальной части всех погнали по «обязательной культурной программе» – в Кремль, на ВДНХ и, конечно же, в Мавзолей.

Очередь тогда тянулась, как река, и стояли в ней в два ряда, в полной тишине. Внутри – холод, запах формалина и гвоздики, тяжелый полумрак. И вот он, вождь мировой революции, лежал на черном бархате, словно не человек, а икона, сотканная из плоти. Слабое освещение мягко оттеняло лоб, скулы, губы, чуть сомкнутые, словно Ленин вот-вот вздохнет и скажет: «Учиться, учиться и учиться!»

Абузалов тогда не просто смотрел – впитывал, как тысячи других советских граждан, для которых этот человек был больше, чем Христос, – он был вечен.

А теперь – этот вечный лежал в ташкентском морге. Не на гранитном постаменте, а на ржавом хирургическом столе, в облупленной комнате с облезлой плиткой и запахом фенола. Как обычный бомж.

– Скажите мне... что это двойник, – прохрипел Абузалов, пятясь, и с каждым словом голос его становился всё выше. – Что это просто... похожий... на него человек...

– Это просто похожий! – пискнул Останакул, у которого колени ходили ходуном. Он понимал, что если сейчас главный врач позвонит куда надо, то ни он, ни Мурзилкин уже никогда не увидят солнца. Останакулу живо представились подвал КГБ, лампа под потолком, допросы, вывернутые суставы, признание «в пособничестве империализму» и приговор – «вышка». Он сглотнул и готов был поклясться чем угодно, что никакого Ленина здесь нет.

Но Мурзилкин не собирался играть в ложь. Его охватил восторг безумца, который больше не различает границы возможного.

– Да, это так, Рустам Андреевич, – тихо, но отчетливо сказал он. – Это тот самый Ленин.

Главврач медленно поднял взгляд. В его глазах блеснул чистый ужас, перемешанный с животным инстинктом самосохранения. Он понимал всё – и то, что появление мумии государственного масштаба в его больнице тянет на измену Родине, и то, что никакие связи уже не спасут. Всё, чем он жил – квартиры, дачи, Волга, любовница, протекции – всё обрушится в один миг. А впереди – следствие, обвинение, приговор... возможно, даже статья: «Покушение на тело Ленина».

Абузалов отступил. Медленно, осторожно, глядя только на Мурзилкина и его безумные глаза.

– Я... я должен... кое-куда позвонить... – пробормотал он, делая неловкий шаг назад. А потом резко развернулся и рванул к двери.

Мурзилкин понял всё сразу. Реакция – мгновенная, почти животная. Он схватил дефибриллятор «Большевик», который им был создан, – тяжелый аппарат с толстым проводом и хриплым гудением трансформатора. И прежде чем Абузалов успел коснуться ручки двери – ударил.

Разряд хлестнул по воздуху, запахло палёной кожей и озоном. Главврача отбросило к стене, он ударился, дернулся, и, теряя равновесие, покатился вниз по ступеням.

Его тело скатилось по лестнице, глухо бухаясь о железные ступени, и лбом врезалось в хирургический стол.

Гроб дрогнул, качнулся, и на секунду показалось, будто труп Ленина пошевелился – то ли от вибрации, то ли от чего-то иного. Тень пробежала по его восковому лицу.

Мурзилкин, тяжело дыша, повернулся к оцепеневшему Останакулу.

– Дорогой мой, – сказал он почти спокойно, вытирая вспотевший лоб, – ты спрашивал о мозгах?

Он указал на распростёртое тело Абузалова.

– Вот... есть свежий. Подходящий экземпляр.

Останакул содрогнулся: перед ним лежал человек, изо рта которого тонкой струйкой вытекала кровь, а глаза всё ещё были открыты – и в них застыл тот самый ужас, с которым он смотрел на Ленина.

Глава восьмая. Бомба в дипломате

Отпустив таксиста и поправив воротники своих легких пиджаков, Гиви и Мускул неторопливо огляделись по сторонам. Жаркий воздух дрожал над асфальтом, под ногами скрипел мелкий песок, а от дороги шел запах бензина, пота и дыма от жаровен, где торговцы продавали самсу и шашлыки. Над площадью стояла лениво мерцающая дымка, и в ней, словно из миража, возвышалось массивное здание гостиницы «Узбекистан» – гигантская коробка из белого бетона и резного решетчатого фасада, в стиле позднего советского модернизма. Здание было похоже на гигантский кондиционер, из которого выдували прохладу в самую жару.

У крыльца стоял туристический автобус с надписью «Интурист» – сверкающий, чистый, с голубыми занавесками и флажком с канадским кленовым листом на лобовом стекле. Из него один за другим выходили иностранцы – мужчины в белых шортах и ярких рубашках, женщины в широкополых шляпах и солнцезащитных очках. Они возбуждённо переговаривались, размахивали буклетами с надписями “Samarkand – Pearl of the East”, “Tashkent – City of Friendship”, смеялись и показывали пальцами на высокий шпиль телевизионной башни.

– Oh my God, it's so hot! – визжала одна канадка, отмахиваясь от солнца.

– C'est incroyable! Il a dit que c'était le Central Asia's Paris! – восторженно воскликнул другой, француз, обращаясь к спутнице.

– Look, look! Lenin is everywhere! Even on the walls! – послышался юношеский голос.

Они, как дети, радовались любым мелочам – жареным лепёшкам, уличным музыкантам, восточным орнаментам, не понимая, что за этой яркой пылью скрывалась усталость страны, доживающей свои последние месяцы.

Перед ними суетился узбекский гид – молодой мужчина лет тридцати пяти, стройный, в светлой рубашке и белых брюках, с черной челкой, блестящей от масла. На шее у него висел красный бейдж «Intourist guide – Bahrom». Он говорил на хорошем английском, с восточным акцентом, но уверенно, четко, улыбаясь каждому туристу так, будто видел его впервые и навсегда.

– Please, my friends, do not forget your cameras and water bottles. We will visit the Museum of Applied Arts and then you will have lunch in our best restaurant – “Zarafshan”! – говорил он, подбадривая группу. – Remember, Tashkent is the city of peace and friendship! Don't worry, everything is safe here!

– Сюда тоже иностранцы ездят? – удивился Мускул, прищурившись на разноцветную толпу. Он думал, что американцы, французы и японцы интересуются только Москвой и Ленинградом, а все эти Узбекистаны, Киргизии и Таджикистаны для них – как дыра на карте, где верблюды бродят по пустыням и играют на дудках.

Гиви фыркнул, посмотрел на подельника с тем презрением, каким интеллигент из Тбилиси смотрит на деревенского кузена, впервые увидевшего лифт.

– Конечно, ездят, – сказал он, не скрывая иронии. – Узбекистан – это восточный колорит, древность, базары, специи, голубые купола, Самарканд, бухарские евреи и шелковые ковры. Тут туристов всегда хватает, особенно если у них доллары и слабость к экзотике.

С высоты площадки он оглянулся и увидел раскинувшийся ниже парк – густые платаны, переплетенные ветвями, под которыми царила спасительная тень. В самой глубине парка возвышалась огромная бронзовая голова Карла Маркса, установленная на красногранитном постаменте. Это была работа скульптора Матвея Манизера, установленная еще в 1968 году, когда в честь столетия со дня рождения философа вся страна с энтузиазмом ставила монументы борцам за освобождение пролетариата. Голова была исполинской – лоб, как фасад дома, густая борода, похожая на медные водопады, и взгляд, устремлённый куда-то в вечность, в сторону

бывшей площади Октябрьской революции, где всё еще возвышался обелиск с серпом и молотом.

Ниже, под монументом, шла жизнь: торговки семечками и орешками, дедушки с шахматами, мальчишки, которые катали по аллее самодельные скейтборды. За деревьями виднелась станция метро «Октябрьская революция» – одно из красивейших сооружений ташкентского метрополитена, облицованная белым мрамором, с мозаиками, изображающими сцены революционной борьбы и лица героев 1917 года. Из вентиляционных решёток поднимался прохладный воздух, и люди, ожидавшие у входа, подставляли лица под этот искусственный ветер.

Гиви вдохнул полной грудью, шурясь на солнце, и сказал, словно сам себе:

– Хорошее место. Тепло, красиво, и никто не задаёт лишних вопросов. В такой стране можно делать большие дела, если знать, с кем говорить и кому платить.

Мускул глухо хмыкнул и поправил за спиной кожаную сумку с оружием. Он не понимал всей тонкости этой географии, но чувствовал: тут, под этой бронзовой бородой Маркса, под тенью платанов и блеском гостиницы для интуристов, начиналась их новая глава – глава, где дипломат с миллионами долларов мог оказаться куда опаснее любой гранаты.

Они вошли в прохладное фойе, где запах мрамора смешивался с ароматом полироли и дешёвых французских духов, которыми пользовались администраторши. Мраморные стены отражали шаги, а под потолком лениво вращались вентиляторы, гоня горячий воздух. За столом дежурил сержант милиции – молодой парень лет двадцати пяти, с обветренным лицом, широкими скулами и маленькими хитрыми глазами. На его форменной рубашке потемнели подмышки, фуражка сидела набекрень, а из нагрудного кармана торчал карандаш и блокнот. Он зевнул, когда увидел двоих приезжих, и, подняв руку с ленивым жестом, остановил их.

– Сюда нельзя. Только интуристы! – сказал он, глядя исподлобья, будто защищал государственную тайну.

– А мы и есть интуристы, – спокойно ответил Гиви, с лёгким акцентом, будто специально смягчая слова, и незаметно сунул сержанту в ладонь сложенную вчетверо купюру.

Тот моментально оживился, воровато оглянулся по сторонам, убедился, что администраторша занята своими бумагами, и широко улыбнулся, показав золотой зуб. – Welcome, dear guests! We are happy for your visit to Uzbekistan! Please go to reception desk, they make you number! (Добро пожаловать, дорогие гости! Рады вашему визиту в Узбекистан! Пройдите к регистратуре, вам там оформят номер!) – произнёс он на английском, немного коверкая слова.

Бандиты прошли к стойке регистрации. За ней сидели две девушки – одна писала что-то в журнале, другая жевала жвачку «Love Is» и лениво листала журнал Burda Moden. Гиви достал пару купюр – этого было достаточно, чтобы бюрократическая система превратилась в систему мгновенного сервиса. Через пять минут им выдали ключ с номером 1007, отметили паспорт в журнале и вызвали девушку-портье.

Сопровождала их узбечка лет двадцати двух, с гладко зачёсанными чёрными волосами, большими глазами и мягкой походкой. На ней была короткая юбка и белая блузка с золотыми пуговицами. От неё пахло жасмином и чем-то сладким, как от восточного базара, где смешаны специи, духи и пыль. Она шла впереди, покачивая бёдрами, и улыбалась, будто знала, что мужчины за ней смотрят. Когда они дошли до двери номера, она открыла её ключом и тихо сказала:

– Хуш келибсиз! – что значило «Добро пожаловать!»

Номер оказался просторным, почти апартаментом по советским меркам. На полу лежал узорчатый ковёр, стены были отделаны под дерево, на них висели репродукции Айвазовского и Пиромани. В центре стояли две широкие кровати, покрытые шелковыми покрывалами цвета бордо. В углу – телевизор «Электрон», на тумбочке – телефон с диском, а у окна – журнальный столик с хрустальной вазой, полной яблок, инжира и винограда. На балконе висели плотные шторы, сквозь которые пробивался солнечный свет, заливая комнату золотыми бликами.

Из окна открывалась потрясающая панорама летнего Ташкента 1991 года – город раскинулся до самого горизонта, словно огромный сад. Белые дома, зеленые аллеи, купола мечетей, стройная телевышка, сверкающая на солнце, и дымка, в которой таяли дальние кварталы. На проспекте Ленина двигались автобусы, «Жигули» и редкие иномарки, а над всем этим лениво проплывало небо с редкими, белыми, как хлопок, облаками.

На столе стояла вазочка с фруктами, аккуратно выложенными по кругу, а в холодильнике «Бирюса» Мускул обнаружил настоящее сокровище – бутылку водки «Столичная», баночку чёрной икры, копчёную колбасу и пару банок импортного пива «Tuborg». Всё это в обычной советской гостинице было недостижимым, но директор «Узбечки» знал, как держать марку – ведь сюда заселялись иностранцы, дипломаты, теневые делцы, а теперь вот и московские гости. Восточное гостеприимство требовало угощения, пусть и за валюту.

– А мне здесь нравится, – признался Мускул, тяжело плюхнувшись на кровать, от чего та жалобно скрипнула. – Прямо как в кино. Только жара бы не душила. – Он не успел договорить, как уже захрапел, растянувшись поверх покрывала, раскинув руки и сапоги.

Гиви же аккуратно поставил «дипломат» на стол, проверил замок и провёл ладонью по его холодной поверхности. Затем достал пачку «Marlboro», щёлкнул зажигалкой и глубоко затянулся. Дым кольцами поднимался под потолок, растворяясь в кондиционированном воздухе, оставляя лёгкий аромат табака и дорогого металла.

Он сидел, не мигая, глядя на «дипломат». Внутри лежали доллары – хрустящие, чистые, плотные, как новая жизнь. Грузин улыбнулся краешком губ: деньги не отягощали его совесть, они её, наоборот, успокаивали. Он верил, что в мире, где рушится Советский Союз, где Ленин лежит в цинке, а Москва гниёт под тяжестью перестройки, единственное, что имеет реальную ценность, – это не идеалы, не дружба и не Родина. Это тяжесть денег. Она, как груз золота, придавала уверенность, делала человека спокойным, как море перед штормом.

Когда Мускул открыл глаза, Гиви уже заканчивал разговор по телефону. Грузин был свеж, выбрит и искупан, на нем лежала новая одежда, аккуратно уложенная людьми Армена – чистая рубашка, темные брюки и кожаные туфли, которые аккуратно блестели в вечернем свете. В платяном шкафу висели вещи и для Мускула: светлая рубашка, свободные брюки и сандалии – чтобы можно было привести себя в порядок за пару минут.

– Нас ждут, – коротко пояснил Гиви, сжав трубку и поворачиваясь к быковатому. – Быстро побрейся и причешись. Армен – человек уважаемый, с ним на одной ноге все милицейские и партийные бонзы. Он как Дон Карлоне.

– Кто? – пробормотал Мускул, сморщив лоб. Он никогда не видел фильма «Крёстный отец», хотя мелодию из него узнавал везде: в радиопередачах, на пластинках, по радио «Свобода».

Гиви с удивлением посмотрел на него и покачал головой. «Крёстный отец» – это классика криминального мира, фундамент для понимания законов и иерархий мафии. Фильм о могущественном семействе, о тонкой игре власти и преданности, где каждый шаг имеет последствия, где честь важнее денег, а месть – святая обязанность. Удивительно, что Мускул пропустил этот этап в воспитании себя как настоящего гангстера. В криминальном мире СССР ориентировались на такие картины так же, как на «Однажды в Америке» или «Человек со шрамом», изучая по ним западную реальность преступного мира: тонкости сделок, подлоги, предательства и влияние силы.

– Ты останешься мелким жуликом, если не начнешь интересоваться искусством, – произнёс Гиви, недовольно пожимая плечами. – Искусство криминала учит жизни.

Тем временем солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая город в золотисто-розовые тона. Ташкент вечерел, его улицы сияли красными и желтыми огнями фонарей, плетеные тени деревьев ложились на тротуары, а купола мечетей блестели в закатном сиянии. С десятого этажа гостиницы открывался потрясающий вид: проспекты города тянулись, словно

живая сеть, между ними зелёные парки, в которых качались листья платанов, а над городом клубились мягкие облака, окрашенные закатным светом. Всё казалось замедленным и величественным, словно город сам дышал медленно, величаво, готовясь к ночи, полной жизни, света и своих тайн.

К девяти вечера к гостинице «Узбекистан» плавно подкатила серая «Волга» ГАЗ-24 – модель для избранных, выданная гаражом ЦК Компартии УзССР. Такие машины всегда были символом статуса: ими возили министров, секретарей и делегатов пленумов, но иногда они попадали и в руки тех, кто пользовался властью иначе. Криминал любил брать такие автомобили «в аренду» – неофициально, конечно, – а управление делами ЦК любило деньги и всегда шло навстречу тем, кто мог заплатить наличными, без вопросов и расписок.

За рулём сидел плотный мужчина лет пятидесяти, с коротко остриженными висками и лицом, словно вырезанным из гранита. Он не смотрел в зеркало заднего вида, не оборачивался, не спрашивал – он был из породы тех шофёров, которых ещё при КГБ учили главному правилу: не видеть, не слышать, не помнить. Жизнь партийных начальников и их окружения должна была оставаться тайной для простых людей – тайной их роскоши, сделок, интриг и похотей.

Гиви, сжимавший «дипломат» на коленях – он не выпускал его из рук ни на минуту, словно там был не металл и кожа, а его вторая душа, – и Мускул, молчаливый и тяжёлый, устроились на заднем сиденье. Машина мягко двинулась, почти бесшумно скользя по асфальту вечернего Ташкента.

День уже сдал свои позиции. Сухая жара уходила в землю, уступая место прохладному дыханию ночи. Воздух наполнился запахами – жареного мяса с уличных шашлычных, ароматом пыли, остывающего асфальта и платанов, чьи листья тихо шелестели в вечернем ветре. По проспектам текла новая жизнь: в ресторанах загорались неоновые вывески, в кафе на крыше звучали саксофоны, в подвалах видеосалонов шепотом шли «Рэмбо», «Кобра» и «9½ недель», за копейку киномеханик мог включить даже «Эммануэль». У памятника Карлу Марксу – тот самый, с тяжёлой головой и угрюмым взглядом, – толпились ночные бабочки, кокетливо щёлкая зажигалками и бросая фразы на смеси русского, узбекского и фарси. Ташкент начинал жить второй, запретной, жизнью – шумной, пьяной и жадной до наслаждений.

Скоро «Волга» свернула с широкого проспекта в узкие улицы махалли. Там, где фонари становились редкими, а стены глинобитных домов хранили прохладу, стояло одноэтажное здание с большой вывеской «ЕРЕВАН», выполненной латинскими буквами и украшенной виноградной лозой. Ресторан был оформлен как кооператив общественного питания, но на деле представлял собой клуб избранных – место, где сходились партийные номенклатурщики, цеховики, бандиты, дипломаты и случайные красавицы.

Внутри всё говорило о роскоши: бархатные занавеси, дубовые столы, пузатые бутылки армянского коньяка на полках и ковры на стенах. На кухне стоял аромат шашлыка, хашламы и долмы, а в воздухе звенел хруст бокалов. Здесь одна бутылка водки стоила, как две месячные зарплаты инженера, а простая лепёшка с кунжутом – как взятка преподавателю юридического факультета ТашГУ. Всё имело цену, но не имело совести.

Гиви и Мускул вышли из машины и направились к двери. Внутри, на сцене, музыканты группы «Большие барабаны» настраивали инструменты: два гитариста с «Ямахами», клавишник в очках, ударник в белой майке, и девушка с лирой – зачем лира была нужна в ВИА, никто не понимал, но её округлые формы и восточная улыбка делали присутствие инструмента абсолютно оправданным.

Кроме музыкантов и бегавших официантов, в зале уже сидело человек десять. В центре, как солнце среди планет, восседал Армен Багратионович Пагасьянц, известный в уголовных сводках как "Армен Сицилиано". В картотеке МВД СССР его имя было помечено красным карандашом: «вор в законе», несколько ходок, связи от Еревана до Одессы, репутация безупречная. Армен был мужчиной лет пятидесяти, с широкими плечами, орлиным носом

и сединой на висках. На нём был безупречный костюм «Zegna», золотой перстень с камнем цвета крови и лёгкая усмешка человека, привыкшего решать судьбы одним движением пальца. Вокруг него сидели урки, подхалимы, мелкие «братки» – те, кто жил на дыхании старшего.

Сегодня он отмечал день рождения своего племянника, и приезд двух московских гостей пришёлся как нельзя кстати. Армен любил эффектные появления, а Гиви с «дипломатом» в руках выглядел именно так, как он любил – люди, которые приносят новости, деньги и возможности.

Гиви подошёл к Армену, который, заметив гостя, привстал с места и раскрыл руки в широком, искреннем жесте. Они обнялись крепко, по-кавказски – с громкими хлопками по спине, как будто не виделись вечность, хотя оба прекрасно знали: за этими объятиями всегда стояли не только дружеские чувства, но и проверка – кто кого держит крепче, кто уверенней стоит на ногах. Кавказцы умели договариваться в любых обстоятельствах, будь то родные ущелья, где пахнет виноградом и овечьим сыром, или чужая равнина, где родина – не место, а состояние души. В их понятии «брат» – это не слово, а договор, подкреплённый честью. Союз был для них ареной игры, но дом – это то место, где нельзя гадить, где святость рода и горы в крови.

– Рад тебя видеть, брат, – произнёс Армен с мягким акцентом, обнимая Гиви. Его глаза блестели, и было видно, что радость эта – не напускная, без политики и игры.

– И я рад, брат, – с тем же чувством ответил Гиви, хлопнув его по плечу.

Мускул, чуть замаявшись, протянул руку Армену и получил в ответ короткое, вежливое рукопожатие. Он не стал навязываться. В их мире субординация была священна: старшие – решают, младшие – ждут. Поэтому он сразу, как бы инстинктивно, отошёл чуть в сторону, выбрав место у стены, где его почти не было видно. Как оказалось потом, именно это решение и спасло ему жизнь.

Племянник, ради которого устраивалось застолье, должен был подъехать позже, а вот ужин ждать не собирался. Уже гудели казаны во дворе: в одном томился ароматный плов с барбарисом и зирой, в другом шипел жир от шашлыка, падающий на угли, а на задней кухне повар поливал свежие люля-сосиски гранатовым соком. Из холодильника официанты вынимали бутылки с инеем на стекле – «Столичная», «Арабат», «Смирнов» – водка густела, словно масло, после дневной жары.

На столе появлялись блюда: лаваш, тарелки с зеленью – кинза, базилик, тархун, редис и лук; следом – фаршированные баклажаны, осетрина, кебаб, куриные рулетики, долма, хаш, копчёная колбаса и красная икра, нарезанная тонко, почти по-европейски. На серебряных подносах блистали фрукты – персики, дыни, виноград. Запах был такой, что можно было опьянеть, не выпив ни грамма.

Криминальная публика загготала, бокалы звякнули, пошли тосты. Первый – за здоровье хозяина, второй – за Москву, третий – за братство, а четвёртый – за тех, кто «сидит, но не сдаётся». Смех, шутки, сигаретный дым и густая волна разговоров сплетались в одно шумное целое.

Армен склонился к Гиви, наклонив голову так, чтобы их не слышали даже свои. Его лицо потемнело, когда разговор перешёл к делу.

– Есть один шакал, брат... – начал он. – Бахо Ташкентский. Ты, может, слышал? Контролирует спирт, гашиш из Афгана, блядей по всему городу, да теперь ещё и на китайский товар глаз положил. Он зажимает, не даёт вздохнуть. Люди мои в правительстве говорят: "Армен, решай с московскими, мы в это не лезем. Ваши дела – ваша кровь." Поможешь, Гиви? – он говорил тихо, но в голосе звучала сталь. – Не бесплатно, конечно. Я тебя отблагодарю.

– Помогу, – коротко ответил Гиви, протыкая вилкой жареную рыбу – золотистую, с хрустящей корочкой и запахом масла и лимона. Кусок зашипел, когда он откусил. – Раз ты мой брат, значит, твои враги – мои враги.

Армен кивнул с удовлетворением и щёлкнул пальцами. В тот же миг загудел микрофон – на сцену вышел ансамбль «Большие барабаны». Гитаристы проверили звук, клавишник ударил аккорд, ударник дал короткий ритм. И под рёв аплодисментов на сцену вышла Масюта Блакинская – шансонетка из Томска, женщина с хрипотцой и силой в голосе, как будто она прожила две жизни: одну – в кабаке, вторую – на нарах. В обтягивающих джинсах, с наколкой на плече – кинжал, оплетённый змеей, – и с ярким алым платком на шее, она улыбнулась и взяла микрофон.

– Ну что, мальчики, скучаем? – сказала она и подмигнула залу.

Музыканты взяли аккорд, и из динамиков полилась её песня:

«А я милого узнаю по походке,

Он носочки ставит шире, чем другие...»

Гитара подвывала, лира пела тонко и странно, как будто откуда-то из сна. Бандиты, сидящие за столами, притопывали, качали головами, подпевая припев. Воздух стал густым, почти осязаемым – из дыма, музыки, алкоголя и напряжения. Всё шло своим чередом, но в воздухе уже витало что-то – невидимое, электрическое, как перед грозой.

И вдруг, как раскат грома, двери ресторана «Ереван» с треском распахнулись. Снаружи ворвалась тяжелая, плотная волна воздуха, смешанная с гарью машинных выхлопов и ночной пылью. В тот же миг по залу прошёл хлесткий командный окрик – «Работать!» – и в помещение хлынул ОМОН.

Это были не те ленивые, полубесформенные милиционеры, что дежурили у вокзалов, – нет. Эти двигались как машина. В чёрных балаклавах, в бронежилетах, с блестящими шлемами и глухими, ровными шагами они напоминали металлических зверей. Автоматы АК-47 – блестящие, смазанные, с длинными магазинами и вмятыми прикладами – держались у плеч, направленные прямо в зал. Под сапогами гремели битые стаканы и разлетевшиеся тарелки, запах жареного мяса тут же сменился ароматом пороха и пота.

– Всем на пол! Быстро, твари! – орали бойцы, срываясь на крик. Кто-то из музыкантов не успел опомниться – получил прикладом в живот. Официанты бросали подносы, стекло звенело, вино и водка разливались по полу. Шашлыки, плов, осетрина – всё летело на плитку, перемешиваясь с грязью и кровью.

ОМОНовцы действовали чётко: одного за другим валили на землю, пинками загоняли под столы, хватали за волосы, били прикладами по рёбрам, не разбирая, кто перед ними – вор в законе или музыкант.

Любой в зале понимал: стоит командиру махнуть рукой – эти ребята без колебаний откроют огонь. Многие из них прошли Афганистан. Для них убить – не преступление, а привычное ремесло, отточенное годами боёв. Их глаза за сеткой масок были холодны и безжизненны, как у охотничьих собак, загоняющих добычу.

Один из омонцев, бритоголовый, с шрамом на шее, подхватил гитару, валявшуюся на сцене, и с размаху разбил её о голову певицы Масюты Блакинской. Та вскрикнула, и в воздух поднялось облако лака и пыли от грифов. Лира, стоявшая рядом, была разорвана сапогом пополам – струны звякнули, словно жалобный вопль. Ударник попытался встать, но получил сапогом под рёбра – и рухнул обратно, придавленный барабаном. Музыканты лежали на полу, как выброшенные куклы, а бойцы ходили по их спинам, не замечая, как под подошвами трещат кости.

Армен и Гиви сидели, поражённые, хотя каждый из них повидал многое – и облавы, и расстрелы, и перевороты. Но то, что происходило сейчас, было не рейдом, а показательной карой. Всё выглядело слишком театрально, слишком точно отрепетировано. Значит, где-то должен быть дирижёр этого адского оркестра.

И он появился. Из глубины зала, словно из тени прожектора, вышел мужчина – высокий, плотный, с лицом степного орла и тяжёлой походкой человека, привыкшего к власти.

Это был Батыр Парпиев, полковник, бывший начальник УВД Андижанской области. Его некогда уважали – пока не случился тот май, когда Андижан утонул в крови. Тогда он провалил операцию, не смог защитить население, и его сняли с должности. Говорили, что Каримов лично назвал его «бестолковым идиотом». И всё же, по старым связям, кто-то в МВД вытащил его обратно, поручив одно-единственное задание – поймать московских гостей. И добавили холодно:

– Обосрётся – можешь сорвать погоны. Второго шанса не будет.

– Не подведу, – тогда пообещал Парпиев.

Теперь он шёл медленно, почти лениво, словно на прогулке. В его взгляде не было ярости – только усталое презрение. Он знал, что перед ним не просто бандиты, а авторитеты, люди, чьё слово весило больше, чем приговор суда. Но он также знал и другое – при тридцати автоматах даже царь будет молчать.

Под ногами у него хрустели осколки бокалов. В зале стояла тяжёлая тишина, нарушаемая лишь дыханием лежащих на полу людей и тихим звоном металлических деталей. Парпиев поправил китель, задержал взгляд на Гиви, потом – на Армене, и угол его губ чуть дрогнул.

Он пришёл за ними.

Армен, ещё сидя, медленно вытер губы, набрал в рот слюну и с хриплым презрением выплюнул под ноги полковнику. Слюна расплескалась на лакированных сапогах Парпиева, но тот даже не пошевелился. Для Армена это был жест, древний как кавказская месть: он никогда не презирал врага молча. Ментов он не боялся, – слишком часто за жизнь сидел с ними за одним столом, когда приходилось «решать вопросы». Он понимал законы этого мира: всё, что начинается с автоматов, заканчивается купюрами. Сколько бы ни гремели сапоги, ни кричали команды, в конце всегда находился конверт с деньгами. Наверняка Парпиев хочет выкуп. Захочет – получит. Так заканчивались все встречи закона и криминала в позднем Союзе – не победой одной из сторон, а сделкой, где честь стоила столько же, сколько пачка долларов.

– Вас подослал Бахо Ташкентский, – процедил Армен, хрипло, глядя исподлобья.

Полковник слегка улыбнулся, но не ответил. Его глаза, холодные и усталые, переместились на Гиви.

– Где он? – тихо, почти лениво спросил Парпиев.

Армен удивленно моргнул. Он привык, что в таких играх охотятся за ним, но сейчас понял – охота не на него. Милиция пришла за Гиви.

– Что ты имеешь в виду? – насторожился грузин, приподнимаясь.

Полковник вздохнул, провел рукой по виску, словно отгоняя воспоминание.

– Твоих ребят поджарили на Ленинградском шоссе. Всех. Солнцевские сдали вас.

Он говорил спокойно, будто читал рапорт. – Вы похитили мумию. Так где она?

Армен непонимающе смотрел то на Гиви, то на Парпиева. Вены на его висках налились кровью, щеки горели, как после вина. Казалось, он сейчас бросится кому-то в глотку, лишь бы вернуть контроль над происходящим. В зале запахло злостью, потом – страхом.

Парпиев не обращал внимания на этот взгляд, от которого слабые падали в обморок. Он продолжал с той же усталой твердостью:

– Гиви, ты знаешь, что похитил. Это не просто труп. Это – символ. Самая большая ценность Советского Союза. Отдай мне мумию – и ты получишь меньший срок.

Но Гиви был не тот, кого можно купить или запугать словами. За плечами – три ходки: Владивосток, Тбилиси, «Матросская тишина». Он знал, как пахнет пуля, как скрипит нары, как лопается кожа под допросом. Он был вор старой школы – сдержанный, гордый, с осознанием собственного веса.

Грузин выдохнул дым сигареты и спокойно, почти презрительно сказал:

– Да пошёл ты, лягавый.

Парпиев кивнул – без гнева, будто ожидал. Его взгляд упал на стоящий у ног грузина «дипломат».

– Возьми, – приказал он коротко бойцу.

ОМОновец, не задавая вопросов, шагнул вперед, схватил портфель и поставил на стол. Гиви даже не пошевелился, только в уголке губ мелькнула ухмылка.

Замок щелкнул, крышка раскрылась. Даже у повидавшего всё Армена на мгновение отвисла челюсть. Там лежали доллары – аккуратные пачки, перевязанные банковской лентой. Хруст свежей бумаги был почти музыкален. Деньги светились зелёным, отражаясь в стеклянных осколках.

– Продал мумию, значит? Кто покупатель? – спросил Парпиев, усмехаясь.

Гиви молчал. Его глаза были пустыми, будто он уже знал, что дальше произойдёт.

В ресторане повисла тишина – тяжёлая, звенящая. Лишь за окном стрекотали цикады, а где-то вдалеке кричала сирена.

Парпиев медленно подошёл к роялю, взял целый бокал шампанского, стоявший на крышке, и сделал маленький глоток. Пузырьки поднялись, в зале пахло горелым спиртом и мясом. Он повернулся, чтобы сказать что-то Гиви – и в этот миг ОМОновец потянул за пачку долларов, не заметив, что под бумажной лентой тянется тонкая красная нитка.

Мир взорвался. Трёхсотграммовая тротиловая шашка, спрятанная в «дипломате», разорвалась с хищным ревом. Вспышка ослепила зал. Воздух ударил в грудь, как каменная волна, и через секунду всё превратилось в хаос. Стекла окон вылетели наружу, как пули. Столы перевернулись, мебель разлетелась, пламя с ревом побежало по шторам.

Крик, треск, звон металла и запах крови – всё смешалось в одно.

Гиви и Армена разорвало на части. Осколки портфеля и кости впились в стены. Пламя опалило лица омовцев, несколько рухнули прямо на месте, не успев даже вскрикнуть. Масюта Блакинская, облепленная кровью и пылью, завизжала и, шатаясь, выбежала из зала – её волосы горели, платье было разодрано, но она всё ещё бежала, как сумасшедшая птица, из клетки, наполненной смертью.

Выжили только двое – Мускул и Парпиев.

Мускул, раненый, с окровавленным боком, полз по полу, цепляясь за обломки мебели. Воздух был густой, как дым из самса-печки, дышать было нечем. Он вывалился через разбитое окно и упал на землю, обжигая ладони об горячий бетон.

Над ним светила луна – огромная, серебристая, безучастная. «Я спасусь...» – бормотал он, отползая в темноту, оставляя за собой кровавую дорожку.

Парпиев, ошеломлённый, стоял на коленях, прикрываясь рукой от жара. Его лицо было обожжено, китель дымился. Но он был жив – случай спас, шаг в сторону, когда он тянулся за бокалом. Он поднял глаза – зал был похож на кусок ада: горящие тела, искорёженные инструменты, дымящийся рояль.

Из соседних домов уже доносились крики. Люди выбегали на улицу, женщины в халатах и мужики в майках. Кто-то визжал:

– Пожар! Людей убили!

Кто-то кричал в телефон:

– Милиция! Пожарная! Срочно, ресторан «Ереван»!

А кто-то, смекнув, набирал знакомого из редакции:

– Приезжай! Тут всё в крови, мафия, милиция, взрыв – сенсация!

Над горящей махаллёй взвился чёрный дым, и отблески пламени отразились в стеклах окон. Ташкентская ночь – теплая, степная – теперь пахла горелыми деньгами и человеческим мясом.

Глава девятая. Реанимация мумии

Останакул, бледный как простыня, подошел к двери и, не глядя на Мурзилкина, медленно повернул ключ в замке, словно отрезая себя от всего остального мира. Щёлкнул металл, сухо, холодно, и это щелканье отозвалось у него где-то под ложечкой. Потом он наложил тяжёлый железный засов, тот заскрежетал, будто не хотел слушаться, и в этом скрежете было что-то мрачное, почти могильное. После этого нейрофизик подошёл к окнам и плотно опустил брезентовые шторы, перекрыв свет уличных фонарей. Комната утонула в полумраке. Только настольная лампа с мутным стеклом оставляла на столах жёлтые островки света, между которыми тянулись длинные тени, похожие на скрюченные пальцы. Теперь морг казался отрезанным от времени и мира, как подводная лодка, ушедшая на дно с мёртвой командой.

Мурзилкин, уставший, но сосредоточенный, не стал ждать, когда жизненные процессы у Рустама Андреевича закончатся полностью. Тело уже не дышало, но на губах оставалась слабая синюшность – след удара током. Патологоанатом при помощи Останакула уложил главврача на соседний хирургический стол, аккуратно, почти с уважением, словно выполнял ритуал, а не преступление. Металлический стол холодно звякнул под телом, лампа осветила плешистую голову, и Вячеслав Муркелович взял циркульную пилу, включил её, и воздух прорезал резкий визг, будто вскрикнул кто-то из-за шторы.

Он снял верхнюю часть черепа уверенно, с профессиональной точностью. Запах палёной кости смешался с антисептиком и старым формалином – привычный, но сегодня почему-то тягуче-тяжёлый. Мозг, извлечённый с предельной осторожностью, поместили в стеклянный сосуд с раствором питательной среды. Жидкость поблёскивала, как янтарь, и оттуда поднимались пузырьки. Мурзилкин проверил термостат, потом взял шприц и ввёл в вещество три кубика препарата «Революция» – мутно-красную сыворотку собственного изобретения. Раствор вспыхнул лёгким алым отблеском.

Затем он всадил в полушария тонкие медные электроды, подсоединив их к старому дефибрилятору «Большевик».

– Ну, родной, посмотрим, что ты скажешь, – пробормотал он, потирая руки.

Когда он включил ток, жидкость в сосуде дрогнула, пузырьки ускорились, и по поверхности пробежала слабая вибрация. Мозг чуть шевельнулся – или это показалось – но для Мурзилкина это было знаком. Он улыбнулся, с восторгом безумца, который верит, что за гранью смерти есть только наука.

Дело шло к вечеру.

Небо за окнами морга уже было густо-синее, и сквозь брезентовые шторы едва пробивался слабый отсвет заката. В больнице становилось тише: гул дневной суеты стих, где-то далеко слышалось, как медсестры выкрикивали фамилии пациентов.

– Эй, Хужамов – в процедурную!

– Сергеев – на укол!

– Гималаева – сменить повязку!

Эти звуки долетали до морга, как из другого мира, далёкого, живого, где ещё дышали, ели, смеялись и жаловались. Здесь же царило тяжёлое, неподвижное безвременье, прерываемое лишь гудением дефибрилятора и мерным капаньем воды из крана в раковину.

Осторожно, боясь даже чихнуть, Мурзилкин и Останакул извлекли из цинкового гроба мумию. Металл глухо скрипнул, крышка поднялась, и оттуда повалил сухой, застоявшийся запах старого бальзама, воска и мертвечины. Свет лампы упал на восковое лицо Ленина – жёлтое, сжатое, но с узнаваемыми чертами. Секунду оба стояли неподвижно. Их руки дрожали.

Когда они дотронулись до тела, влажная пелена ужаса прошла по позвоночнику. Даже Останакул, привыкший к опыту с мозгами крыс, почувствовал – они тронули не просто труп, а нечто большее, символ, память, ужас. Мурзилкин не выдержал. Он опустился на колени, сжал руки и вдруг разрыдался, как ребёнок.

– Подождите, дорогой Ильич! – шептал он, утирая слёзы. – Мы оживим вас! Немного терпения! Всё почти готово!

Он говорил с таким жаром, словно давно сдохший человек действительно мог его слышать, понять, простить.

А может, и слышал – где-то в вязкой темноте веков, в глухом, мертвом эфире. Потому что на мгновение показалось, будто веки мумии чуть дрогнули – или просто лампа мигнула от скачка тока.

– Дальше что, шеф? – тихо спросил Останакул, глядя на своего начальника, у которого руки еще дрожали от слез и напряжения.

– Надо заполнить мумию недостающими органами, – хрипло ответил Мурзилкин, смахивая ладонью пот со лба и слезы с лица. – Выпотрошим Рустама Андреевича полностью!

Мирзаев кивнул, словно соглашаясь не с приказом, а с приговором. В его глазах мелькнул холодный профессиональный интерес: в конце концов, они создавали новую жизнь, пусть и самым чудовищным способом. Тело главврача было еще теплым, и Останакул взял скальпель. Острый клинок скользнул по коже, разрезав грудную клетку от ключицы до солнечного сплетения. Из раны хлынул густой, почти черный поток крови – густая, как кисель, жидкость, пахнувшая железом и смертью.

Мурзилкин раздвинул ребра медицинским расширителем, и послышался хруст – словно ломали доску. Он извлек сердце, тяжёлое, налитое, с ещё не застывшими сгустками, промыл его физиологическим раствором и аккуратно передал Останакулу. Тот, словно хирург на живой операции, вшивал орган в грудную полость мумии, где ранее зияла пустота, забальзамированная почти семь десятилетий назад.

Затем пошла очередь печени – тёмно-красная, блестящая, ещё теплая. Её Мурзилкин вставил в брюшную полость и подшил сосуды к древним артериям, восстановив разорванные каналы. Дальше – почки, селезёнка, петли кишечника, даже поджелудочную железу. Всё это доставалось из разрезанного туловища Абузалова и аккуратно размещалось внутри мумифицированного тела, словно древний сосуд наполняли свежими соками жизни.

Воздух в морге был густым, вязким от запаха формалина, крови и разогретого железа. Металлический стол скрипел под тяжестью, инструменты звенели, падали, лампа дрожала от малейшего движения.

А в углу магнитофон Telefunken тихо напевал голосом Лещенко:

«И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди!..»

Эти звуки создавали жуткий контраст: живая, бодрая песня и вид двух окровавленных людей, которые перекладывали органы, как детали машины.

К утру тело Абузалова было полностью опустошено – внутри осталась лишь пустая оболочка, похожая на кожаный мешок, а вот мумия напротив – опухла, ожила в своей тяжести, словно впитывала новую жизнь. Кожа её слегка потемнела, на висках проступил влажный блеск.

– Ну что, начнём последний акт великой операции, – произнёс Вячеслав Муркелович торжественно.

Он подошёл к стеклянной колбе, где в мутноватом растворе дрожал мозг Абузалова. Из него всё ещё выходили мелкие пузырьки – знак, что электрическое поле работало. Пинцетом

Мурзилкин поднял орган, словно жрецы древнего Египта, держащие сердце фараона перед богами. С затаённым дыханием он вставил мозг в черепную коробку Ленина, зафиксировал, подогнал крышку, скрепил стальными скобами и поверх наложил кожу, аккуратно загладив место разреза.

– Теперь – наш препарат «Революция»! – с лихорадочным блеском в глазах произнёс он.

Из ампулы с мутно-красной жидкостью Мурзилкин набрал ударную дозу и ввёл прямо в сонную артерию мумии. Почти сразу по телу прошла волна судорог – будто сквозь него пробежала молния. Он присоединил электроды дефибриллятора «Большевик» и включил ток.

Разряд – тело подбросило.

Второй – конечности дёрнулись.

Третий – голова мотнулась в сторону, рот раскрылся, и оттуда вырвался хрип, будто кто-то глубоко под водой попытался вдохнуть.

На осциллографе загорелась зелёная линия. Сначала едва заметно, потом всё сильнее. Она забилась – пошёл сигнал.

– Есть контакт! – заорал Мурзилкин, выкатывая глаза.

Сердце билось, кровь циркулировала, печень вырабатывала ферменты, желудок выделял кислоту. Всё работало, всё оживало, словно этот древний организм действительно возвращался к жизни. И наконец глаза Ленина распахнулись. Они были влажные, мутные, стеклянные – но живые. Он смотрел прямо на Мурзилкина и Останакула.

Однако в этом взгляде не было ни разума, ни узнавания – только пустота, глубина без дна, куда страшно заглянуть.

– У него пустой мозг, Вячеслав Муркелович... – прошептал Останакул, отходя назад, будто от чудовища. – Он жив, но пустой.

– Верно, – ответил Мурзилкин мрачно, глядя на шевелящиеся губы вождя, – он жив, но пока ничего не помнит. Мы должны вернуть ему память революции...

Мумия медленно присела, и с сухим, почти деревянным звуком спустила голые, восковые ноги со стола. Кожа на них была туго натянута, как на старом манекене, а пальцы едва двигались, будто пробуя заново вспомнить, как устроено тело. Ступни не доставали до пола – оказалось, что вождь революции был мал ростом, хрупок, даже трогателен в этой своей новой немоции.

– Ничего, дорогой наш Владимир Ильич, – прошептал патологоанатом, глядя на ожившего лидера с благоговением. – Мы вас оденем в ваш революционный костюм, и вы вернете социализм в нашу страну. Мы совершим вторую Октябрьскую революцию. Но для этого... нужно загрузить в вас все ваши работы. Всё, до последней строчки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.